

Министерство культуры и молодёжной политики  
Самарской области  
и Самарская областная писательская организация  
представляют в проекте  
*«Народная библиотека Самарской губернии»*  
книгу

**Владимир Осипов**

# Монастырская дорога

*Стихи. Рассказы*



Русское эхо  
2008



Печатается по благословению  
Архиепископа Самарского и Сызранского  
Сергия

**Осипов В.И.**

**О 74** Монастырская дорога: Стихи. Рассказы. — Русское эхо:  
Самара, 2008. — 120 с.

**ISBN 978-5-9938-0004-2**

Осипов Владимир Ильич родился в 1958 году в Самаре. Окончил режиссерский факультет ВГИК. Снимался в фильмах «Сталинград», «Сто солдат и две девушки», «Дорога в Парадиз» и других. Автор нескольких документальных лент, в том числе, «Русские идут», «Вече», «Территория голода», «Блаженная Мария». Печатался в журналах «Литературная учёба», «Молодая гвардия», «Московский вестник», «Наш современник», «Москва», «Русское эхо», «Духовный Собеседник» и других изданиях. Автор книг стихов «Жертва вечерняя», «На Русском рубеже», «Выселки». Лауреат Всероссийской литературной премии имени Святого благоверного князя Александра Невского (I премия в номинации «Поэзия»). Член Союза писателей России.

Живёт в совхозе «Майский» Пестравского района Самарской области.

**ISBN 978-5-9938-0004-2**

© Осипов В.И., 2008.

## К Небесному Ерусалиму

Творчество Владимира Осипова известно мне давно. Его стихи — простые по форме, но глубокие и правдивые, чуждые какому-либо украшательству и ложной двусмысленности. В них чувствуется степная размеренная жизнь, они исполнены размышлений о том, что всегда волновало и будет волновать русского человека: Родина большая и малая, её судьба, собственный жизненный путь с ошибками и падениями, но всегда устремлённый к горнему:

*Каким предстану перед Богом?*

*Я жил — как жил,*

*я жил — терпел,*

*по гиблым исходил дорогам*

*весь Богородицын удел,*

*несла неведомая сила,*

*не оставляя даже вех...*

*К Небесному Ерусалиму*

*дорога повернула вверх.*

Дай Бог, чтобы этот поворот произошёл в жизни каждого, читающего эту книгу.

Мне как пастырю особенно радостно видеть в любом творческом человеке, особенно, в писателе — такой редкостный дар, как христианское смирение. К сожалению, чаще наблюдается обратная картина: успех на литературном поприще — реальный или воображаемый — затмевает ум, надмевает сердце и не вразумляет пишущего, а вредит его душе. Владимир Осипов все свои книги издал по благословию Правящего Архиерея. Вот и эта новая — открывается моим небольшим вступительным словом. Вижу в этом благой пример и отповедь всем тем, кто, ратуя за свободу творчества, копирует все нормы и авторитеты, идёт против традиции.

Божие благословение автору, его читателям и всем ценителям русской словесности.

**Архиепископ Самарский и Сызранский  
Сергий**



***Cmuxu***

### **Небесный причал**

Когда лодчонкой чахлой стану,  
когда задует вдруг пурга,  
причалию к родовому стану,  
где радугой горят снега,  
росою выпадает детство  
и ждёт крестьянская родня —  
мне никуда от них не деться:  
они молились за меня,  
когда я оступался, падал,  
входил в кромешное пике...  
Узнал последнюю отраду —  
приют на зоревой реке.  
Что мне шальные воды Леты  
и Стикса ненавистный бег!  
Здесь — нескончаемое лето,  
где летом — радугою снег,  
где сказы оживают зримо  
и нет превратностей судьбы,  
где все блаженны, быв гонимы,  
где зов Архангельской трубы.

## Дума

...И, примерив судьбу Пророка,  
на исходе Страстной недели  
загляну пустыми глазами  
в опустевшую душу мою:  
только бы не уйти до срока  
и не сгнить в казенной постели,  
и Омыть скупыми слезами  
в Радуницу друзей-родню.

И, примерив судьбу, как робу,  
прошептать покаянное слово  
и пойти поклониться полю,  
где издревле течёт ручей;  
а дорога моя ко гробу  
вдруг свернёт и исчезнет снова,  
только боль останется болью,  
ведь давно я уже ничей.

«Только все мы Божии дети, —  
мне промолвит смиренный схимник.  
Только все мы под Богом ходим», —  
он распевно произнесёт.  
Значит, я не один на свете:  
эта боль, как все боли, сгинет,  
и не умерло то в народе,  
что в народе всегда живёт.

Как протяжно веет весною  
на исходе Страстной недели,  
и близки запредельные страны,  
где я стану самым собой.  
Я вожмусь в постель под сосною,  
мне не надо иной постели,  
и, как пёс, залижу все раны  
и исчезну во мгле густой.

## Путь

*Памяти Николая Шипилова,  
псаломщика и поэта*

### I

Мы уходим за кулисы,  
может, рано, может поздно —  
освещают наши лица  
только звёзды, только звёзды.  
Мы уходим — что нам память,  
что нам прошлого призывы.  
Посмотри, какая замять!  
Значит всё-таки мы живы.  
Только кратки дни златые,  
и сурова Золотая.  
Облака вокруг литые;  
мы простимся, улетаю.  
Но никто не отзовётся —  
значит всё-таки нас мало.  
Как невесело поётся  
после бала, после бала.

### II

О чём мне жалеть —  
всё так легко сложилось:  
закат горит в окне, святыне в образах;  
и долго-долго мне лишь обо мне тужилось;  
но стоит лишь заснуть —  
и матушка в слезах.  
Какие города, какие веси были!  
Какие имена и звуки вдалеке!  
Но стоит лишь заснуть —  
и присные забыли.  
И только лишь закат всё тает на реке.



Да что до присных мне,  
ведь я такого рода —  
куда там остальным с поднятием целины!  
Не стоит засыпать,  
меня блажит погода  
прозрачная, как свет,  
где дали все видны.  
Но матушка — в слезах,  
жена вот-вот заплачет,  
и дети за отца меня не признают..  
Но всё же есть стихи  
и что-то они значат.  
И дали жгут закат.  
И дали память жгут.

О, Господи! прости: такая незадача —  
родился и прожил, как тысячи других.  
Но ведь, когда умру, хоть кто-то же заплачет.  
О, Господи! смотри: закат совсем затих.

### III

Вспомни, друже, какие мы дали прошли,  
как бездарно страну прогуляли!  
Нам оставили краешек нашей земли  
и бесценные памяти дали.  
Как бурьяном могилы друзей проросли,  
как красиво в судьбу мы входили!  
И не предали нашей родимой земли,  
хоть и сиры, юродивы были.  
Я другого поведать тебе не могу.  
Что тебе за Превышним проделом?  
Только я сберегу, сберегу, сберегу  
даже то, что уже отлетело  
в те края, где лютует весёлый мороз,  
где беспечны и вольны разливы...

Но поверь ты мне, друже,  
что жалко до слёз  
тех, кто всё ещё живы и живы.  
И доколь нам ещё эту лямку тянуть,  
ощущая тоску и тревогу?  
И ответил мне друже:  
— Как долог наш путь  
ко кресту и воскресшему Богу.

#### IV

...как я бреду по городу, таясь,  
Не хочется — ни с кем-сейчас-сегодня.  
А в городе то снег, то лёд, то грязь,  
Весь этот гнев и милость вся Господня.  
И как везёт: навстречу — ни души;  
И это всё в канун Страстной недели.  
Простите мне, родные алкаши,  
Что как-то раньше многих околели.  
А я живу — какой-то недочёт,  
Весь этот бред под знаком Водолея...  
Река моя и подо льдом течёт,  
И ни о чём я, в общем, не жалею.  
Дорога не приводит в никуда,  
Ведь Он сказал: «Я — Путь...».  
И все восстанут.  
И подо льдом течёт моя вода  
к студёному, как Вечность, океану,  
где чаек запоздалый, резкий крик.  
Нет ни вчера, ни завтра, ни сегодня.  
И в северном сиянии виден Лик,  
и Истина, и Жизнь, и длань Господня.

## Диалоги

### 1. Он и Она

*Ходит волк во мороке-смарагде...*

**В.К.**

— Собирайся, милый мой, в дорогу,  
знаю я спасительный удел:  
позабудешь тайную тревогу —  
как давно ты этого хотел!  
Там звучат лишь праздничные звоны  
и растут нездешние цветы,  
не слышны там никакие стоны,  
небеса высоки и чисты.  
Там снега в июльский зной не тают  
по оврагам в девственных лесах,  
птицы заповедные летают —  
позабудешь, позабудешь страх.  
Там одни лишь мирные соседи,  
ключевая — ломит зуб! — вода...  
Вот куда, хороший мой, уедем.  
— Не туда, родная, не туда.

### 2. С Неизвестным

— Как мне холодно, молодо было,  
лед хрустел под тяжёлой ногой  
и несла непонятная сила!  
— Может, просто сносило пургой?  
А ты рвался к успеху и славе  
и о прошлом не горевал,  
и не думал, что вправе-невправе  
оставлять за собою обвал.  
— Но ведь мне же и голодно было,  
и я жертвовал, жертвовал всем.  
Но несла непонятная сила...

- А зачем же всё это, зачем?
- Что, на Страшном Суде не зачтётся?
- Град гордыни? Смиренья глоток?
- Может, что-то вернётся, вернётся?
- Может, — холод да ветер в висок.

### **3. С Уходящим**

— Этот конского щавеля запах  
и ручья неказистый исток  
вдруг мгновенно потянут на Запад,  
только я поверну на Восток.  
Эти гиблые злые болота —  
не Мещора, не Белая Русь;  
я в Поэзии — та же пехота:  
ни за славой, ни мздой не гонюсь.  
Только конского щавеля запах —  
для чего, для чего, для чего?  
Почему меня тянет на Запад,  
ведь там нет у меня никого?  
Отцветают и падают Царства.  
Что же там, за тобой, Третий Рим?  
Да мытарства, мытарства, мытарства;  
ты иди на Восток, пилигрим.  
Но волхвы ведь не встретят, не встретят:  
будет хлад, будет зной, будет мор...  
Но ведь будет пронзительный ветер,  
будет вечный нещадный простор.

### **4. Перед зеркалом**

- Чего ты, старый, приуныл,  
сдавлив виски руками?
- Да со вчерашнего нет сил,  
и мрак за облаками.
- Но наступает же рассвет,  
как бликом облак вылит!

— Но счастья нет,  
и горя нет, —  
как пулею навылет:  
хоть кровоточит — не болит,  
или — почти не больно.  
— Да не хандри ты, инвалид,  
с тебя уже довольно.  
Не каждому — героем пасть,  
но каждому — к Престолу.  
Не сдавшись, сгинула твоя часть...  
— Но кланяюсь я долу  
за то, что жив,  
за то, что трезв,  
пока что, спозаранку...  
— Боброк всё прячет свой резерв,  
как скатерть-самобранку.  
Куда же ты забрёл, Боброк?  
Каким овечьим светом?  
— Наверно, не пришёл мой срок.  
А может, срока нету?  
А есть блаженная Страна,  
где добрые соседи  
и где, конечно, с бодуна  
Архангелы не бредят,  
где чистый снег на мостовой —  
хоть ешь, хоть умывайся,  
где бродит, бродит  
сам не свой  
блаженный этот, Вася.

\* \* \*

И вырвал я всё, что успел насадить,  
и всех позабыл, кого помнил,  
считая, не время, не время любить —  
как пусто, светло и легко мне!  
И всё, что построил, спалил поутру,  
объявляя раскинув по свету;  
шумели осины на гиблом ветру:  
«Не сетуй, не сетуй, не сетуй...».  
И снова последним из первых я стал;  
и камень-горюн — на дороге;  
я надписи долго на камне читал  
без чувства тоски и тревоги.  
Но всё же нашёл я мой меч-кладенец,  
ведь время войны наступило.  
Прости мне, прости мне, прости мне, Отец,  
что больший мне крест не по силам.  
Мне книгу нашепчет из Ветхих времён  
Твой самый простой Проповедник.  
И в свитки свернутся полотна знамён,  
ведь я — из тех самых, последних.  
И что с меня, Господи, можно бы взять  
под этим сереющим небом?  
И долго осины мне будут шептать:  
«Не хлебом единым, не хлебом...».  
Но камни мои — все! — разбросаны мной  
да так, что собирать неохота.  
И камни мои всё летят над страной  
И падают в вражьи болота.

\* \* \*

Вот и кончилась ночь, я не понял опять ни бельмеса;  
тяжело просыпаюсь, себя осеняя крестом:  
снова виделись ведьмы, кикиморы, бесы,  
вурдалаки и эльфы — и это Великим Постом.

Чем ещё согрешил, чем же так не угоден я Богу?  
Или просто так любит, что искушает опять?  
Поднимусь, не спеша: надо брать на себя понемногу,  
только то, что по силам. А силы откуда же взять?

Но ведь я отболел и не помер ещё ведь, не помер.  
«Приведите мне Вия...» Опять несусветная блажь!  
И в порядке высоком не самый последний мой номер,  
да и память остра, притушился лишь чуть карандаш.

Ангел Смерти парит, словно чайка, —  
неслышно и вольно;  
Даже в этом видна зоревая Его благодать!  
Что с того, что с того, что ночами кому-то так больно?  
Что с того, что с того, что не в силах он то передать?

\* \* \*

Воздай мне, Господи, сейчас —  
мне завтра будет не по силам,  
ведь не копил я про запас  
и чтил отечески могилы.

Воздай мне, Господи, воздай,  
воздай мне, Господи, сегодня;  
я — как тот Ванька-Голодай,  
дурак, что чтил лишь страх Господень.

Воздай мне давнюю пургу  
во тьме кромешной за Тоболом,  
воздай — я больше не могу,  
ведь я смертельно болен словом.

А после — навсегда покой,  
и чайки над закатом реют...  
Неужто я один такой,  
один — во всей Гиперборее?



\* \* \*

В сиротство мирно погружаясь,  
в его неласковую тьму,  
я как бы вновь преображаюсь.  
...и присягаю вновь Ему.  
Мне всё как будто безразлично,  
и я как будто бы ничей;  
но даже это мне привычно.  
...и монастырский блик свечей.  
А дух болящий плоть смиряет.  
И Ангел шепчет, шепчет весть,  
он мне такое доверяет,  
что даже страшно произнести.

\* \* \*

И лишь тамбовский волк — товарищ,  
и сгинула во тьму родня,  
и не вернёшь, и не поправишь,  
и — не полцарства за коня.

Постыла в рытвинах дорога;  
и сердце бьёт наперебой.  
Иду от бога или — к Богу?  
Окончен иль не начат бой?

Ах, погулял, покуролесил!  
Молчи, коль нечего сказать.  
Мой лес дремучий обезлесел.  
Молиться, помнить, поминать...

А жизнь идёт, как понарошку.  
Но, коль собрался помирать,  
сажай, сажай, сажай картошку,  
как бедная учила мать.

Коль выживешь, то что-то сваришь.  
Что пригорюнилась, ветла?  
Ведь и там тамбовский волк — товарищ,  
и жизнь по-прежнему светла.

\* \* \*

...по слякоти, по родине, по милой —  
к осенним непролазным берегам,  
к заросшим полуброшенным могилам,  
к берёзам пожелтелым и стогам.  
В случайно подвернувшейся попутке,  
чуть сокращая несуразный путь,  
мне не постичь трезвеющим рассудком  
ни эту грязь, ни эту мглу, ни муть.  
Остывшими промозглыми ночами  
зачем тащиться к топким берегам?..  
Что — жизнь? Она почти что за плечами.  
И этим первозданно дорога.  
Всё остальное — мимо, мимо, мимо.  
О, Боже Правый, так не обессудь,  
ведь путь мой — лишь к Тому Ерусалиму,  
в колдобинах и ямах дивный путь.

\* \* \*

Это ветер-листождёр,  
это ворон сиротливый,  
это сказочный простор —  
памяти моей приливы.  
Это детства благодать,  
это скудная природа,  
это ласковая мать,  
это радость непогоды...  
Так, по прошлому скользя,  
вдруг восстанет ниоткуда  
вся родня моя эрзя  
между милостью и чудом.  
Этот ветер-листогон  
так разбудоражит память!  
Чудь, не знавшая Закон,  
как умела Бога славить!  
Почему же, почему  
Евдокимы и Ефремы  
движутся ко мне сквозь тьму —  
мимо темы, мимо темы?  
Отступаю я, как тать,  
ощутивший вдруг стыдобу.  
Но настигнет благодать —  
слава Богу, слава Богу! —  
с поднебесных тех церквей,  
из-за облачной теплыни.  
...это ветер-суховей,  
запах высохшей полыни.

\* \* \*

В тиши бревенчатой церквушки,  
где запах леса и жнивья,  
услышу дальний зов кукушки  
и праздну песню соловья.

Всё, что под спудом было скрыто,  
покрыто ряской-пеленой,  
в простых словах Архимандрита  
предстанет истиной иной.

Предстанет первозданным полем,  
где жёлто-голубой ковыль,  
где скачут табуны на воле,  
не поднимая в небо пыль.

Где озеро без окоёма,  
где невод празднично тяжёл,  
где всё привычно-незнакомо,  
где Кто-то по воде прошёл.

Куда — библейская дорога?  
И где — евангельский покой?  
Здесь гаснут страсти и тревога;  
До неба — чуть подать рукой.

Из чащи дикой выплутаешь,  
полно лукошко быть-чудес,  
и там полнее ощущаешь,  
Что Он воистину воскрес.

\* \* \*

Сошла на землю благодать —  
никто не возжелал иного.  
В начале было, было слово:  
любить, сочувствовать, страдать.

Сошло на землю торжество —  
никто не пожелал иного.  
Но ведь в начале было слово —  
смиренно, чисто и светло.

Сошла на землю свето-тень —  
никто не ожидал такого.  
И позабыли люди слово,  
восславив предвоскресный день.

Сошли на землю смрад и мрак —  
никто, никто не ждал такого.  
И измельчили люди слово,  
и души погрузились в страх.

Сошла на землю пустота,  
ворвался первозданный ветер,  
срывая двери с крепких петель.  
И обнажилась красота.

\* \* \*

Всё по осени пресно,  
но глубинно-светло.  
Умереть и воскреснуть?  
Снова душу свело,  
снова по сердцу бродит  
горевая тоска.  
А листва хороводит,  
но стучит у виска.  
И бездонного зелья  
так охота испить.  
Но наутро похмелье  
и не хочется жить.  
Только ласкова баба,  
повторяет опять:  
— Ах, ты, слабый мой,  
слабый;  
лучше б книжки писать.  
Всё по осени присно,  
всё опять, как всегда,  
молча голову стиснуть;  
за окном — лебеда,  
за окном — грязь — дорога  
удаляется в лес.  
Но куда мне без Бога  
и бездонных небес?  
И куда мне без бабы,  
пусть, какой б ни была.  
Мир — доверчиво-слабый.  
Вот и осень прошла:  
и первейшей поземкой  
первопуть метёт.  
Мир доверчиво-ломкий,  
как на лужицах лёд.  
На столе моём тесно,  
сердце радуется! Умереть и воскреснуть.  
И опять умереть...

\* \* \*

И, если осень на исходе  
на полдороге к Кинелю,  
и сердце в сотый раз подводит,  
и голову ведёт к рулю,  
но сердобольные селяне  
доставят в клинику опять!  
В приённом трудно на диване  
молитвы вечные читать.  
Как солнце первозданно светит  
и как топырщется стерня!  
Придёт реаниматор Петя  
и объяснит, что всё — херня,  
что, если жизнь не получилась,  
то получилась всё равно,  
что есть божественная милость,  
когда в земле умрёт зерно;  
потом закурит папиросу,  
мол, жизни век не научить;  
к чему вселенские вопросы,  
коль надо водку меньше пить.  
И сто иголок — болью в спину,  
и всё нутро дерёт наждак;  
но входит вдруг сестра Марина,  
целует в губы — просто так.



\* \* \*

*Валентину Голубеву*

Какие предвечные помыслы!  
Какой вдохновенный угар!  
Но стали седыми вдруг волосы,  
ненужным — божественный дар.

Какая церквушка у пристани!  
Какой вековой перевоз!  
Здесь цельно всё, чисто и истово,  
не стыдно нечаянных слёз.

А дальше — тропой неведомой  
к древнейшим забытым скитам;  
за нами другие последуют  
по нашим нетвёрдым следам.

Успеем, успеем к обедне мы  
на Русском святом рубеже,  
и будем, и будем последними —  
«...мы первыми были уже».

\* \* \*

*Красных юбок мчащуюся медь...*

**Наталья Егорова**

Этой стороны глухая поросль,  
Родины кулички и судьбы.  
Мы живём — как ни было б там — порознь.  
Я не против славы и борьбы.  
Я не против. Мне одна отрада —  
я не самый худший среди вас.  
Мне от жизни ничего не надо,  
ничего не надо про запас.  
Мы уйдём — и не поможет слава.  
И о чём ты, милая, о чём?  
Ты — моя последняя отрава;  
я тебя лишь поддержу плечом.  
Я тебя... Досадно и постыдно:  
кто — зачем — и почему живу?  
Вне собора ничего не видно.  
Почему, родная, почему?  
Пред тобою не имеют силы  
все блудницы ветхой Магдалы;  
обернёшься ласково-уныло.  
Всё равно уйду, сметая мглы.  
Я уйду. Но, Господи, доколе?  
Мне от жизни страшно и светло.  
И не надо больше этой боли,  
мне не надо больше ничего.

\* \* \*

И будет холодно и пусто,  
и будут ветры завывать,  
и странное охватит чувство,  
что ты мне — и сестра, и мать.  
Любимая! Какие счёты?  
Нам нечего с тобой делить.  
Нас разлучают самолёты,  
чтобы опять соединить.  
Чтобы опять — предела нету.  
Любимая, снега метут!  
Снега метут по белу свету.  
Но где-то помнят нас и ждут.  
Но где?..  
Не встретим постоянства.  
И окна залепляет снег.  
...Когда я превращусь в пространство,  
то обрету тебя навек.

\* \* \*

*Галине*

Когда вознесусь, вознесусь, вознесусь,  
от ближних и дальних моих отрекусь,  
мне станет просторно, покойно, светло,  
тогда лишь в твоё загляну я окно,  
где ты долгой ночью не спишь и скорбишь,  
но, вздрогнув, почувствуешь что-то, простишь.  
Над мгlistой округой взойдёт тишина,  
и ты вдруг подумаешь:  
«Я же — жена,  
а вдовы пусть плачут и волосы рвут,  
на кладбище хлеб поминальный несут,  
а мой лишь вознёсся за дальний предел,  
как этого очень и очень хотел.  
И жизнь свою прожил, себя истребя...»  
И тихо присяду я возле тебя.

\* \* \*

Голубые сугробы  
с Петербургом вдали...

**Анна Ахматова**

Эти русские зимы —  
снег хрустит под ногой,  
и невообразимо  
жить в какой-то другой  
стороне сыто-дальней;  
снег по Невке метёт;  
город строг изначально  
триста тысячный год.  
Здесь покоится Невский,  
здесь почил Иоанн,  
здесь лежит Достоевский;  
и над Лаврой туман  
ранним утром бесстужим,  
где молитвенный труд,  
где кому-то я нужен,  
где давно меня ждут.  
Здесь золотые оковы,  
мирен свет на душе,  
здесь глубинные зовы  
я расслышал уже.  
Я расслышал, расслышал  
ещё те голоса —  
Дух, где хочет, там дышит:  
вот и все чудеса.  
Только тянет всё выше,  
как строку за строкой,  
в мир, где строже и тише,  
в мир, где вечный покой.

\* \* \*

Я услышал голос с поднебесья,  
но не разобрал — о чём же он.  
Голос был похож на стон и песню,  
голос был на что-то обречён.

Вот они, небесные конвои,  
вот они, златые города;  
низко в пояс кланяюсь вам, вои, —  
только прямо в сердце, господа!

Долго в тишине я отзвук слушал,  
исчезал он, будто бы во сне.  
Расцветали яблони и груши,  
и беда гуляла по стране.

Мне уже назад не воротиться.  
«Мамочка родимая, прости!»  
Только чьё-то сердце будет биться,  
будут ещё яблони цвести.

Нету ни вчера и ни сегодня,  
только вечен, вечен, вечен Час.  
Только скачут всадники Господни,  
только слышен, слышен, слышен Глас.

\* \* \*

У Смородины-Мологи  
вдоль кисельных берегов,  
где нехожены дороги, —  
кости братьев и врагов;  
где тропа Батые-хана,  
древлерусские кресты...  
Что, царевна Несмеяна,  
с тенью прежней красоты?  
Богатырская застава —  
Русь иль Весь?  
Куда ж нам плыть?  
Ради жизни, а не славы  
Бога Вечного молить,  
ради милости, спасенья...  
Как мещера и мера  
вслушиваются в поученья  
кроткого Поводыря!  
Но и это было, было...  
Где же вечный тот покой?..  
Как счастливо и уныло  
по-над Воложкой-рекой!

\* \* \*

Заночую в душистом овраге,  
а наутро умоюсь рекой.  
Облака — как седые бродяги —  
проплывут над моей головой.

Вновь подхватит меня попутка  
на пустынном ещё шоссе,  
и шофёр грубоватой шуткой  
смывает грусть на моём лице.

Как дорога меня укачала!  
В город въехали. Выйду тут,  
где всё можно начать сначала,  
где не знают меня и не ждут.  
Природа спятила.  
Беда!  
Разлив — раздолье смелым вёслам.  
Природа спятила!  
Когда  
бывали здесь такие вёсны?  
На плоскодоночке моей  
устал — спина почти не гнётся,  
весь день перевожу людей,  
недорого — полтинник с носа.  
...Последний поезд. Тишь в бору.  
Бежит девчонка, задыхаясь.  
И я, нелепо улыбаясь,  
ей вру, что денег не беру.  
И вновь отчалит плоскодонка,  
и буду я на всём пути  
молчать, поглядывать в сторонку  
и очень медленно грести.



\* \* \*

И никогда, и никогда  
такое не случится боле:  
грустит о чём-то лебеда  
в обыкновенном русском поле,  
обыкновенные стога  
застыли строго за рекою.  
И никогда, и никогда  
не повторится вновь такое.

\* \* \*

В поздних сумерках Крыма  
на крутом берегу  
запах дома и дыма  
навсегда сберегу.

Эти странные звуки,  
что нам дарит вода,  
эти робкие руки  
сберегу навсегда.

Эти хрупкие плечи  
здесь, у кромки воды,  
и в тумане предвечном,  
холодны, холодны.

И не муку, не горе,  
не печаль, не беду,  
а весеннее море  
навсегда сберегу.

\* \* \*

Увядшая осень спокойна.  
Солома шуршит на ветру.  
Последние листья невольно  
к последнему жмутся костру.

Октябрь ещё чувствует силу  
и держит поводья в руке.  
Но как-то уныло-уныло  
телега скрипит вдалеке.

### **На Белом озере**

На Белом озере, в глуши,  
за тыщу вёрст до небосвода  
такая тихая погода —  
не шелохнутся камыши.

На белом озере — вдвоём,  
чего желать ещё, не знаю  
и повторяю, повторяю:  
«На Белом озере живём».

Как первозданно и светло!  
Какие строгие заливы.  
И, слава Богу, что мы живы,  
что нас с тобой сюда влекло.

И затухает окоём,  
и ты беспечно засыпаешь,  
и повторяешь, повторяешь:  
«На Белом озере живем».

\* \* \*

Вспоминаю всё чаще и чаще  
на вокзалах, среди толкотни,  
тишиною звенящие чащи  
и осенние тёплые дни.

Солнца свет, отражённый в окошке.  
Дым над речкой. Большой огород.  
Тётя Настя копает картошку  
и негромкую песню поёт.

И негромкая родина слышит.  
Догорает негромкий закат.  
Ветер ивы над речкой колышет.  
Птицы низко над полем летят.

И близки просветлённые дали.  
Далеки бесконечно снега.  
Детство. Осень. Всё только вначале.  
Будто дремлют на поле стога.

Вспоминаю — и светит окошко,  
щедро платит за труд огород.  
Тётя Настя копает картошку  
и негромкую песню поёт.

\* \* \*

*Михаилу Анищенко*

Понимаем с годами всё боле,  
что, в какую б ни кинуло даль,  
перелесок, овражек и поле  
есть судьба наша, боль и печаль.  
Это наши — не чьи-то — истоки,  
что дарованы жизнью самой,  
эти заводи, речки, протоки,  
этот ветер весенний хмельной.  
На лесной очутившись поляне,  
где подснежники не отцвели,  
ощутим, что в душе мы — селяне,  
оторвавшиеся от земли.  
Всё пройдёт, как проходят  
все боли.

Оглянуться не смеем назад.  
Перелесок, овражек и поле  
примут нас и в себе сохранят.

### **Родина**

В потрёпанной роще осина  
осеннею болью полна.  
Просёлочная Россия.  
Вечерняя тишина.

Исхожены эти дороги.  
Даль пасмурна и свежа.  
Тальник неказистый, убогий,  
как чья-то больная душа.

Притихшие стылые реки  
и птицы, летящие вдаль —  
всё это дано нам навеки,  
за это и жизни не жаль.

\* \* \*

По оврагам пасутся кони.  
За рекою застыли стога.  
Подставляем костру ладони.  
Удивительно жизнь дорога.

Поросло бурьяном кладбище,  
постарели за зиму кресты.  
Так чего же, чего же мы ищем  
и идём от версты до версты?

Но потом возвращаемся снова,  
вдруг встречаем коней во мгле.  
И не надо счастья иного  
вот на этой русской земле.



\* \* \*

Памяти Александра Шилкина

Холодный ветер русского простора,  
Глубокая и тёмная вода.  
Не скрыться от всевидящего взора.  
Все ляжем в эту землю навсегда.  
Дай Бог, что б так... Какое лихолетье,  
какая боль поруганной страны!  
Кончается моё тысячелетие.  
Ни перед кем не искупить вины.  
На берегу окоченевшей Волги,  
вдыхая запах дыма и воды,  
как говорили о любви, о долге,  
о мужестве и близости беды.  
Последнее «прости»?

Пусть не прощает.  
Кто следующий на ветреный погост?  
Что: расставанье встречу обещает?  
Там свидимся — Бог милостив и прост.  
Там свидимся! Но эти сёла, дали...  
Без них как сердцу русскому прожить?  
Я не о светлой, благодатной печали —  
о боли, что ничем не заглушить.

### **На русском рубеже**

*Ст. Куняеву*

Мы вновь на поле Куликовом.  
Как оцетинилась орда!  
Зарницы в сумраке суровом  
и красная в реке вода.

Засадный полк ещё в засаде  
и гибнет полк передовой.  
И суть не в славе, не в награде —  
я в Чёрной сотне рядовой.

Я в Чёрной сотне. Слава Богу —  
аз есмь на ратном рубеже.  
И в сердце свет, а не тревога,  
успокоение в душе.

И с нами Спас Нерукотворный,  
хранитель праведных побед.  
Я в Чёрной сотне самый чёрный,  
чернее — только Пересвет.

**Осень. 1993 год**

*Александрю Сайко*

Я такого не видел простора  
и такой не слышал тишины.  
А вдали, за темнеющим бором,  
перелески скупые видны.  
Обнажённая стынет природа.  
Обожжённая гибнет страна.  
В эти смутные дни непогоды  
нас врачует лесов тишина.  
Нас врачует костёр на опушке,  
безконечный, как память, закат,  
а не Пресни кровавые пушки  
и не Новый, не Старый Арбат...  
домик дачный. Скрип старых ступенек.  
Запотелое светит окно.  
И деревьев неясные тени.  
Позапрошлого века кино.  
Позапрошлого жизни дыханье —  
обождённая гибнет страна! —  
перелётное птиц причитанье  
и опять, и опять тишина...

\* \* \*

Теперь мне многого не надо:  
пусть стылый ветер не спеша  
уносит пору листопада,  
чтоб вдруг возвысилась душа  
и странно защемило сердце,  
запахло старою сосной,  
чтоб ты, желая вдруг согреться,  
уткнулась в грубый свитер мой.  
Пускай бы снова не любила,  
но лишь бы дрожь была в руках,  
и чтоб подмёрзшая рябина  
чуть-чуть горчила на губах.

**Кино**

*Элему Климову*

Вот так «Прощание с Матёрой»  
в «Прощание» перелилось.  
Но бормотание мотора  
в тумане не отозвалось.  
Безмолвие. Потерян берег,  
и значит быть большой беде...  
Пока определяли пеленг,  
тот круг замкнулся на тебе.  
Но ход времён остановился.  
Часы не вздрогнут, век дробя,  
когда озябшая Лариса  
оттуда взглянет на тебя.  
Пускай гармошка с полупьяну  
зовёт в языческий рассвет,  
Петрухи, Дарьи и Иваны  
не от таких спасали бед.  
Как боль страны глядит с экрана  
глазами горькими крестьян!  
Но всё покроется туманом.  
И вот уже кругом туман.  
И лишь туман доступен взору.  
Вода густа и холодна.  
Кричим в отчаяньи: «Ма-тё-ра-а!».  
...Не отзывается она.

## Стезя

Только волоком, волоком, волоком,  
ощущая изгиб, — напрямик.  
И простуженным,  
                дрогнувшим голосом  
отозваться на гаснущий крик.

\* \* \*

Услышать шорох листопада,  
увидеть звёзды над собой,  
почуять дым костра из сада  
и ощутить чужую боль,  
стать не пророком — сыном, братом,  
идти по торному пути  
и быть повсюду виноватым,  
и крест свой до конца нести,  
ответчиком быть — не кумиром,  
живым — как поле, лес, река...  
Тогда лишь прозвучит над миром  
твоя негромкая строка.

**Николаю Шипилову**

Ну, что, художник, доля тяжела?  
Иль тяжела ненужная награда?  
Ну, пошумит, прокатится молва.  
Почувствуй: тянет сыростью из сада.  
Все так же цепенеет дальний бор,  
вот-вот уже застелются туманы.  
И как же был на выучку ты спор!  
Ну, а теперь все призрачно и странно.  
Да пусть они вовеки не горят  
или в печурке дряхлой полыхают!  
Какой палит за окнами закат!  
Как реки предосенние вздыхают...  
Ты окажись в неведомой глуши,  
овейанный ненастной погодой,  
и ни о чём не думай, не пиши,  
лишь смутно ощущай себя природой.  
Так вот каков осенний перелёт!  
Кто сбился с курса:  
ты? А, может, стая?  
Ну, что, художник, снова не везёт?  
Ну, что, художник, снова улетаем?



\* \* \*

Широко на белом свете.  
Лебединый перелёт.  
То ли в поле стонет ветер,  
то ли матушка поёт.  
Из небесного чертога  
песня дышит на восток,  
слава Богу, слава Богу —  
снова я не одинок.  
Не казанским сиротою,  
не подкидышем в ночи —  
за последнею чертою  
песня матушки звучит.  
По осенней путь-дороге  
под ногою хрустнет лёд...  
О, небесные чертоги!

\* \* \*

Что же, пора возвращаться  
в дом, что стоит на ветру...  
Будут деревья качаться  
так же, когда я умру.  
Так же притихнет осока  
над потемневшей рекой.  
Память свежа и жестока.  
Мне и не снится покой.  
Так же полночные снега  
скроют на время пути.  
Так же пробьются побег.  
Так что не страшно почти.

\* \* \*

Течёт неспешная река.  
Неторопливо зреет колос.  
Плывут спокойно облака.  
И слышен колокола голос.

Вершиною холма — собор,  
Что пережил года глухие.  
И взглядом не объять простор.  
Глубинная моя Россия.

Петух на полсела поёт,  
по улицам сгоняют стадо,  
звонарь к заутрени зовёт —  
и больше ничего не надо.

Текла бы тихая река,  
под солнцем наливался колос,  
и слышен был издалика  
негромкий колокольный голос,

чтоб нёс всегда благую весть,  
стелился бы туман над полем,  
и ощущать, что счастье есть,  
что есть покой, покой и воля.

\* \* \*

Нагие осины застыли,  
а снега ещё не видать.  
На пасмурную Россию  
ниспослана благодать.  
Вороны кричат сиротливо  
о мрачном, далёком, своём.  
У края речного залива  
вторую неделю живём.  
Но крик воронья не тревожит  
нечаянной тишины.  
Природа бесчинства итожит  
в слепом ожидании зимы.  
В слепом ожидании чуда.  
У берега утренний лёд.  
Неужто и это забуду?  
Неужто и это пройдёт?

\* \* \*

Когда ни печали, ни боли,  
Шагну я через порог  
В вечернее чистое поле  
И встану у пыльных дорог.  
Где пращуров добрые стрелы  
со свистом встречали врага,  
окрепнет усталое тело,  
как будто испив молока.  
Но вечной тоске не померкнуть  
в мятущейся тёмной душе  
между рождением и смертью —  
на призрачном рубеже.  
Восходят неяркие звёзды,  
и колосится овёс.  
Не поздно ещё, не поздно  
о жизни подумать всерьёз.  
И жить, не считая потери,  
как складки морщин на челе,  
и долго ещё не верить,  
что всё это канет во мгле.

\* \* \*

...Он возвращался, как бродяга,  
как блудный непрощённый сын.  
Остановился у оврага  
под робким шелестом осин.

Он возвращался очень долго  
земным неправедным путём.  
А впереди темнела Волга  
и ивы мокли под дождём.

А впереди была дорога,  
и тишина Соколых гор,  
и первозданный, слава Богу,  
пространства русского простор.

И не смущала непогода,  
и тьмы ожившей ворожба.  
Какая русская природа!  
Какая русская судьба!

Какие тихие кладбища,  
где не забвение — покой.  
Он возвращался, словно нищий,  
покинутый своей судьбой.

Он возвращался... Воздух стынет  
И тьма ложится на поля.  
Когда никто уже не примет,  
Всё ж примет мать-сыра-земля.

\* \* \*

Когда уж надоест скитаться,  
а ветер — всё сильней и злей,  
мне хватит духу затеряться  
в просторах Азии моей.

Мне хватит духу раствориться  
в степи бескрайней и снегах,  
чтоб никогда не возвратится  
и превратиться в пыль и прах.

Как величаво воды гонит  
не Волга — а ещё Итиль!  
И прах мой над землёй застонет.  
И ночью зацветёт ковыль.

И странные засвищут птицы,  
и в тучах скроется луна,  
заржут во мраке кобылицы,  
почуяв где-то скакуна.

Но вдруг захочется покоя,  
другого — тёплого — огня,  
когда увижу под собою  
тот берег, милый для меня.

## Отрывки

### I

...И было ветрено, темно,  
и снег всю ночь хлестал в окно,  
а губы жаркие шептали:  
— Люблю... В такие холода  
меня особо манят дали.  
Люблю, не ведая стыда.  
Ты, может быть, меня обманешь,  
но суть не в этом. Я люблю.  
Пусть наиграешься, оставишь —  
переживу, перетерплю.

Слева его не утомляли  
и он спокойно засыпал.  
«Меня особо манят дали...»  
Приснился сумрачный вокзал:  
мужчин с оркестром провожали,  
а мир скорбел и причитал.

Проснулся: тихо и светло.  
Припомнил сон оторопело.  
К нему, прижавшись тёплым телом,  
она спала.

А время шло.  
Он вспомнил, как она шептала:  
«Люблю... В такие холода...».  
Не чувствовал себя усталым,  
как с ним случалось иногда.  
«Как странно, — думалось, —  
так сразу:  
люблю...».

Проснулась, обняла.  
«Банальней не прочтёшь в рассказах».  
— Я раньше будто не жила, —  
сказала. — Я на представляла,  
как эта можно: сразу, так?..



Уже немного утомляла.  
Он вспомнил вдруг Сибирь, барак,  
где за ночь в кружках застывает  
сырая тёмная вода.  
«Тебя бы в эти холода», —  
подумал,  
но сказал:  
— Бывает.

II

Я успокоился. Пора.  
Душа не зреет, не стареет,  
и кофе с раннего утра  
не душу, но хоть тело греет,  
Я успокоился.  
Вразлёт  
мосты над Волгой и Окою.  
И мой окончился полёт —  
я так давно желал покоя.  
Я успокоился  
под стук  
колёс державного экспресса,  
и уезжаю я от мук  
забот земных,  
привычных стрессов.  
Я успокоился — мой срок,  
и — навсегда, не понарошку.

Но гиблый вспомнится дружок:  
«На посошок! И на дорожку...».  
Но вспомнится опять Сибирь,  
и в тамбуре — под минус двадцать,  
и снег, и мгла, и дым, и ширь,  
и гиблый шепчет:  
«Здесь остаться...».  
В вагоне общем пыль и грязь,

и рваная ревёт гармошка,  
и каждый здесь — и пан, и князь,  
и каждый здесь не понарошку.  
Разгульная была пора!  
А гарь в окно от тепловоза?..  
И думы, думы до утра  
на третьей полке бичевоза,

### III

...и зазимок,  
которым прошёл полпути,  
и дороги, которым вовек не кончатся!  
Лёд хрустел под ногой.  
Так упруго идти  
я любил,  
а ещё — не прощать, а прощаться.  
Молодая пора! Только всё — до поры,  
И ледок не хрустит под моею ногою,  
А в лесу моём глухо стучат топоры,  
и река моя полнится рыхлой шугою.  
Но откуда же столько желания жить,  
и откуда берутся глубинные силы?  
И прощаться не надо, а надо простить —  
до зимы, до рассвета, до теплой могилы.

На рассвете нас встретит бревенчатый храм,  
на рассвете над миром опять — Литургия!  
Что случилось с тобой —  
виноват лишь ты сам,  
а другие,  
на то они, брат, и другие.  
    Всё смешалось в судьбе:  
и замшелая Русь,  
бой курантов,  
рокочущие космодромы.  
Я судить никого, никого не берусь;  
есть в печурке огонь —  
мне не жить по-другому.  
Но — зазимок,  
которым прошёл полпути?  
И дороги,  
которым вовек не кончатся?  
А шуга?  
— Я умею на лодке грести.  
И придётся навеки со всеми прощаться.

\* \* \*

Подсчитаю все потери —  
нечего терять!  
Распахну пошире двери:  
«Здравствуй, милый тать.  
Заходи ко мне в светлицу,  
лоб перекрести;  
дам воды тебе напиться —  
больше не проси».  
Но и тать украдкой — мимо  
дома моего,  
мимо дома, мимо дыма.  
Татю — каково?  
Мне-то легче: есть же память,  
жизни острова,  
хоть в душе метель и замять,  
но душа — жива.  
И душа моя любима  
кем-то вдалеке,  
и душа моя хранима  
Господом в руке.  
Пусть полна сомнений чаша,  
крошится строка.

Но послышится: «Наташа!» —  
мне издалека.  
Как же Волга сиротела  
в той осенней мгле!  
Как душа моя светлела  
на пустой земле.  
Только кончилась минута —  
эх, прости-пока! —  
вот и слышится: «Анюта!» —  
мне издалека.  
В дни осенней непогоды  
даль обнажена.  
Просветлеют в реках воды,  
женщина-жена.  
Век месить нам эту глину  
даже в кураже.  
И всё слышится: «Галина!..» —  
в Вечности уже.

\* \* \*

Кулишки, Солянка, Колпачный...  
Какие названия вокруг!  
А воздух почти что прозрачный,  
и церковь на взгорке.  
Но вдруг:  
какие усталые лица,  
какой захирелый народ...  
Вовеки и присно столица  
себе избавителя ждёт.  
Вовеки и присно — дорога  
по полю, по мостовой...  
Неужто всё в мире от Бога —  
и голод, и мор мировой?  
Неужто всё в мире конечно?  
Зачем же — дорога, судьба?  
Прости, если сможешь, Предвечный,  
презреннейшего раба.  
Прости...  
А пока что — Солянка,  
Кулишки... И воздух так чист!  
Играет «Прощанье славянки»  
растрёпанный гармонист.

\* \* \*

Когда отрину мудрость черни  
и по миру пойду с сумой,  
мои великие кочевья  
незримо двинутся со мной.  
Моя предвечная дорога —  
по первопутку, не торя:  
с монастыря и до острога,  
и снова до монастыря.  
И снова... Прочь бежать гордыни  
и не довериться уму;  
а воздух стынет, стынет, стынет  
и свищет ветер сквозь суму.  
благодарить за это Бога:  
из праха — грешный — снова в прах.  
И что мне дольная дорога,  
коль вечен Град на небесах.  
И что мне, что мне мудрость черни.  
Блаженны кроткие, они  
наследуют и свет вечерний,  
и станций тусклые огни.  
В товарняке, в пустом вагоне  
рассвет застигнет вдруг меня,  
разъезд, стреноженные кони  
и в первом инее стерня.  
А поезд снова вдаль несётся!  
Здесь — то же: мирное жильё,  
и женщина идёт к колодцу.  
Но не узнаю я её.  
И будет день, и будет пища;  
блаженны кроткие... Когда  
меня уже никто не ищет  
и — мимо, мимо поезда...

\* \* \*

Всё будет: и свет,  
и безбрежное чистое поле,  
и конница вздрогнет  
на поднебесных горах,  
и мы ощутим беспредельную  
вольную волю,  
не веря, что всё через миг  
превратится во прах.

И мы позабудем тоску  
по родному порогу,  
и прошлое сгинет в весёлом  
небесном огне,  
и выйдет с тобой на последнюю  
нашу дорогу,  
и отрок всевеший прискачет  
на белом коне.

И встанем чрез миг на Великом Суде  
перед Богом,  
покаемся в тяжких — неужто  
и вправду простит? —  
и вечною будет последняя  
наша дорога,  
и путь наш кремнистый  
в тумане не заблестит.



\* \* \*

Ничего не будет скрыто,  
что, до времени таясь...  
У разбитого корыта  
малый князь, великий князь.  
Гей! дворовые-бояре,  
кто себе сам — враг, сам — друг,  
вновь хазаре и татаре  
обложили нас вокруг.  
Время Тушинского вора.  
Ранние метут снега.  
Сколько ветра и простора!  
Жизнь всё так же дорога.  
Вологодского конвоя  
час весёлый настаёт.  
Псы простуженные воют,  
чуя — новый век грядёт.  
А за речкою Пахрою  
всё такой же стынет бор...  
Пусть по-русски похоронят,  
не в обиду, не в укор.  
Пусть по-русски — не чужбина,  
бабы будут голосить.  
Как созвучно и едино —  
схоронить и сохранить.  
Ничего не будет скрыто!  
Не такие шли снега.  
Сколько б ни было убитых,  
как бы жизнь ни дорога.  
Где уж тут покой и воля!  
Где же он, Фаворский свет?  
Псы простуженные воют  
и ни тьмы, ни света нет.  
Что ещё живёт в народе?  
Сгинуло что без следа?  
Может, может, с половодьем  
тёмная сойдёт вода.



# *Рассказы*

### Дед Егорий

Иногда проснёшься и не веришь, что жизнь, прожитая тобою — твоя жизнь и как много в ней уместилось. Хотя ведь «не состоял, не отбывал, не участвовал...» и даже «не служил». А начнёшь вспоминать, хотя бы только детство, не только описать, но даже вспомнить всего не можешь. Одно цепляется за другое и уже кажется, что ты родом из Руси дремучей, потому что помнишь глиняные самодельные горшки, избу без электричества, так как набожная бабушка считала его бесовским наваждением. Помнишь старушек и девочек, чувашек и мордовок, не умевших говорить по-русски. Помнишь языческие поселения с их странными и дикими кладбищами. А в православных — в Троицу застланные свежешпахучей травой светёлки; объедение на Пасху и граничащие уже с чем-то запретным троекратные поцелуи со сверстницами. Я живу бесконечно долго, я помню Средневековье...

Та старица находится на полпути от Нечистого моста к Смердному месту — овражистому участку, сплошь заросшему тальником. И называлась она Егор-ерьке. Я всегда гордился, что она названа по имени моего пращура — деда Егория. Он был то ли двоюродный брат, то ли двоюродный дядя моего прадеда. Егорий держал на старице пасеку ещё тогда, когда места эти были совсем глухими: до Ключей — вёрст восемь, а до Еги — ехать и ехать. Много легенд рассказывалось по Егор-ерьке. Но больше всего мне нравилась та, как дед Егорий...

У одного из кинельских перекатов было стойбище. Я его застал уже обжитым, а тогда оно было диким. И стали там пропадать ягнята. Пойдут на водопой, чуть в сторону ступят и исчезают. Не просто тонут, а проваливаются.

Пастухи посоветались и решили: «Он...».

Пошли к Егорию.

— Выловить надо. Всем миром поможем.

— Я сам.

— Почему? — опешили мужики.

— Почует вас — не выйдет. А меня одного ему в радость помучить. Гусей готовьте.

Поехали в деревню, привезли гусей. Одного закололи к вечеру и закоптили. Егорий взял строгу, багор и топор, из вил сделал что-то наподобие крюка, надел на него гуся и отплыл на закате.

Плавал вверх от переката и опять вниз, задерживаясь на омутах, подплывая поближе к прибрежным зарослям. И так до утра. Впустую.

К следующему вечеру закоптили второго гуся. Утром Егорий пришёл опять пустой.

Пастухи, что баловались самогонкой и общественной гусятиной, проворчали:

— Не простят бабы.

— А может, надо верёвку удлинить? Чует, что ты близко, вот и не подходит, — предположил старший.

— Тогда топором его не достать.

— Ладно, попробую без топора.

Егорий нацепил третьего гуся, удлинил верёвку и отплыл позже обычного. Третья ночь была особенно тихой и тёмной. Пращур всё так же задерживался на омутах и под кустами, расслабляясь лишь у самого переката и под островком, где всегда было тихо. Вот тут-то и рвануло крюк вместе с лодкой. Чуть замешкался Егорий, но всё же сумел подцепить багром, не очень удачно, но так, что, ой, как трудно сорваться.

И понёс его любитель ягнятники чуть ли не до Горелого хутора. И вниз. И опять вверх. Пару раз дёргал так, что охотник чуть в воду не вывалился. А тут вдруг чувствует, что лодка стала о коряжину биться, вот-вот

развалится. Что делать? А тот развернётся — и опять, и опять. Понял Егорий — разобьётся плоскодонка. Он тогда в воду, а там... Сдался, выпустил багор из рук. В глубине что-то аж забурлило, захрипело. Лодка пошла вниз по течению, и лишь на перекате обезсиливший Егорий сел на вёсла.

Пастухам объяснять ничего не стал, а лишь сказал, что ягнята пропадать больше не будут. Так и случилось.

— Бабушка, а кто это был — сом?

— Какой сом?! Он столько сомов перетаскал. У некоторых хвосты аж за телегами по земле тащились.

— А кто же тогда?

— Сам догадайся...

Я ещё верю, что в каждой бане живёт шишига и заходить туда не стоит, не перекрестив все углы, особенно под полком. Я знаю, что ведьмака кричит ночами на озере под лесом — с утопленниками играет. Но понимаю, что бояться их не надо, потому что нет ничего сильнее крестной Силы, и видел, как на Пасху играло Солнце и, откуда ни возьмись, появилась радуга, да такая, что хоть рукой трогай...

Потом вера моя притупилась, тайны стали исчезать. Но в ночную охоту деда Егория я верил всегда и гордился ею. Верили в неё и все мои сверстники. Правда, никто из них не сомневался, что то был самый большой в мире сом.

— Вот бы нам такого поймать! — вздыхал Василь.

— А ведь он его почти здесь схватил, — подхватывал Андрейка.

— Саня-Саня, Саня-Саня! — кричал нам деревенский дурачок Саня и показывал рукой чуть повыше острова: мол, вон, где это было.

Мы — счастливые, потому что дважды в день — по дороге на рыбалку и с рыбалки — видим вдаль на взгорке голубые купола Ключевской церкви, чего лишены

многие наши ровесники. Мы счастливые, но, конечно, ещё не подозреваем об этом. Наше пионерское детство просветляется посещениями кладбища в родительские дни и редкими причастиями Святых Тайн. В посёлке нашем ещё нет ни одного телевизора, а леса и заводи родины полны любимых ужасов.

А к концу того лета началось то, чего втайне желал каждый из нас: вечерами некоторые коровы стали приходить пустые, выдоенные.

Красть молоко было просто некому — у всех в округе свои коровы. А если кто и захотел бы поживиться, просто бы увёл скотину. И ещё заметили: когда стадо останавливалось на стойбище у Бобриногo затона, все коровы возвращались тяжёлые, а от острова у переката, где Егор-ерьке — одна-две пустые.

Пастухи посоветовались и решили: «Он...». В послеобеденный зной коровы заходили глубоко в воду, а он подплывал и выдаивал, те же, дуры, только радовались, что не тащиться с огромным выменем до посёлка.

И решили поселяне до конца лета не гонять стадо на старое стойбище, чтобы не испытывать судьбу.

Второго Егория в округе не нашлось.

### Мимо Нечистого моста

— Никуда сегодня не поедете, — говорит бабка, — и до разъезда не доберётесь, как заметёт. Забыла, как в самые крещенские морозы Васька Сусан два шага до дома не дошёл, у ворот замёрз?

— Так на работу же завтра, а ему — в школу, — уже сдавшись, возражает мать.

— Работа подождёт. А чему его в той школе учат!.. — и бабка вздыхает и машет рукой.

Она берёт у матери сумку и велит нам раздеваться.

Я забираюсь на сундук, смотрю в окно и опять ничего там не вижу. Дед садится у печки и закуривает, а мы втроём снова начинаем пить чай, пахнувший душицей, мятой и ещё какой-то крепкой травой. Хлеб приятно кислит. Не хочется ни завтра в школу, ни сегодня на улицу. Город кажется чем-то далёким и неправдоподобным, будто его и вообще нет, а если и есть, то нет там никакой зимы, никакой метели.

Бабка успокаивается и начинает:

— Помнится, была ещё маленькая, сразу после японской, поехали мы с матерью и отцом на Рождество в Егу. Возвращаемся на другой день под вечер, отец всё ещё пьяный под тулупом спит, мать лошадью правит, а я сижу и по сторонам смотрю. Любила я, маленькая, в дороге по сторонам смотреть. Бывало, всю её наперёд знаешь, а всё смотришь, подмечаешь: там стог поставили, здесь старая верба рухнула — и так её, родимую, жалко! Вот и тогда смотрю я по сторонам, а всё темнеет, темнеет, и погода портится — выюжит. Потом начала лошадь в снег проваливаться. Мамка заволновалась, то туда повернёт, то сюда, но нигде дороги не видно. Ста-ла она отца будить. Но так и не добудилась. А темень-



то, темень кругом, и снег глаза застит. На душе смутно, страх подкрадывается. А тут ещё лошадь взяла и встала. Мать и била её, и уговаривала: «Сивка, Сивушка, пойдём, родимая». Ни в какую! Да той, наверное, и не слышно было — весь голос пурга съедала. Тут я заревела. Отцово сердце, видать, услышало — проснулся хмурый, злой. Заставил Сивку пойти. Не знаю, каким чудом, но вышли к мосту. К тому, возле которого сразу после войны волки съели нижеаверкинского чувашина. Помнишь, мясо только на ногах под валенками осталось. По ним и узнали, что это он. Как уж его звали?

— Федей, мам. Молодой, один с гулянки шёл.

— Царствие ему Небесное... Так вот, от этого моста до хутора версты три оставалось. Но чуем, что не доехать нам. Гибель кругом... Смотрим, чуть в сторонке, у самого бугра, огонек. Откуда ему там взяться, думаем. Отец все же туда правит. Подъезжаем — изба. Ни метели тебе, месяц светит, ворота настежь. В окнах свет, и, слышим, там веселье: песни, гармонь — Рождество кто-то не догулял. Думаем, откуда же здесь изба? Не было ведь никогда. Но всё равно обрадовались. Лишь Сивка упирается и храпит. А из избы народ к нам так и валит — все разодетые, весёлые, поют, пляшут, к себе зовут. А один — здоровенный мужик в полушубке — по всему чувствуется, что хозяин, — из четверти отцу самого наливает. Только отец руку протянул за стаканом, а другой хотел перекреститься, как хозяина будто передёрнуло. Да и отец, как окаменел. Посмотрела я на него, и так страшно мне стало, только не пойму, отчего. Пригляделась получше и вижу, что хозяин и гости все в валенках и сапогах, а следы после них по снегу — как от копыт. Маменька наша давно это заметила, побелела, что снег, и двинуться не может. И такая тишина кругом... Мёртвая-мёртвая... Тут отец будто что-то вспомнил, перекрестился и говорит: «Сгинь, нечистый!». И

мамка себя крестным знамением осенила, и меня крестить стала. Хлестнул отец Сивку и понесла она нас во мглу! А навстречу такой ураган, какого я с тех пор и не видывала... Не помню, как домой добрались. Только отец уже больше никогда не пил и табак курить перестал. А мать до самой смерти, скрепя сердце, выезжала под вечер в дорогу. Сивку же вскорости свели на жи-водёрню, не лошадь стала — пуганая. А мост с тех пор и зовётся Нечистым.

— Мам, не могло такого быть.

— Могло, — говорит дед, — с их роднёй и не такое могло. Ещё Расскажи, как тебе в запрошлом годе...

— Так почему же отец пить бросил, всю жизнь молился и прожил дай Бог всякому! — не унимается бабка. — И почему мост Нечистым зовётся?

— Да он испокон века Нечистый, — отмахивается дед.

— Не верите — ещё Расскажу.

— Мам, пусть ребенок спать ляжет. Зачем ему на ночь страхи-то слушать?

— Ничего, может, лишний раз лоб перекрестит, — бабка смотрит на меня совсем неласково и говорит: — Иди ложись, завтра рано подниму.

Я привык к бабкиным рассказам и поэтому мне совсем не страшно, но всё же с радостью залезаю на печку: там тепло, уютно и пыльно. Сквозь дрёму слышу, как бабка с матерью о чём-то разговаривают. А мне вспоминается такое далёкое лето, когда мы с прадедом ходили рыбачить. Это была его последняя рыбалка. Я его всё донимал, почему рыба не ловится. А он глухо отвечал, что она здесь никогда не ловилась. Зачем пришли? — Просто... А бревна эти — остатки Нечистого моста. — Почему Нечистого? — Кто его знает... Да нет, не сломали, сам рухнул, без догляду. Дорога-то мимо пошла. — Куда? — Кто её знает, куда... Мимо.

Мимо Нечистого моста, мимо нашего хутора... И он начинает рассказывать про Николая Божьего Угодника, который уже столько лет странствует по нашей земле и помогает всем страждущим. И если очень верить в его помощь, то он тебе встретится. Да он всегда рядом ходит. Как узнать?.. — А вот встретишь — и сразу узнаешь. Сердце-то, оно мудрее головы... И вдруг вздыхает: «Надо было тогда и их перекрестить, а я с испугу так рванул, что чуть Сивку не загнал. А бояться-то их не надо». «Кого?..»

Я засыпаю и сквозь сон чую, как пахнет пересохшими валенками, и запах этот мешается со сладковатым запахом дыма дедовой махорки и с ничем не сравнимым запахом лампадного масла.

### **Саня-Саня, который на небесах**

Началось это совсем в другой жизни, когда ко Святому Причастию допускали без исповеди, когда расстояния были бесконечно длинными и путь от поселка к разъезду — в неполную версту! — занимал иногда полдня. Зимой надо было проснуться задолго до рассвета, обувая валенки, впрок греть спину, прислонившись к печи, затем выйти во двор, вдохнуть морозный воздух, приправленный запахом навоза из конюшни и едва ощутимым дымком из печной трубы, задрать голову и почти зажмуриться от ярких колючих звёзд. И лишь потом медленно пойти: или по взявшемуся коркой насту, или по вязким сугробам, или по сплошь обледенелому полю... Весной, в разлив, у самого крыльца садились в плоскодонку и отчаливали, минуя баню, сарай, огороды, обходя затопленный овраг, где дно нельзя было достать шестом, и плыли задами к отлогому спуску, туда, где дорога выходила из воды и вдоль посадки вела к разъезду... Осенняя слякоть почти совсем отрезала посёлок от железной дороги. Зато летом тропинка вела напрямик — через овсы, заливные луга, заросли черёмухи по косогору, беспокойный осинник. И сколько от неё отходило едва приметных тропок — к земляничным полянам, малинику, заводям, кишащим рыбой! Путь становился бесконечным...

Началось это совсем в другой жизни, а продолжилось уже тогда, когда...

Если он не плакал, то улыбался. Всегда. И на всё про всё отвечал одно и то же: «Саня-Саня, Саня-Саня...». Так его звали. Мы были ровесниками. Только я учился в школе, а Саня нигде не учился, потому что был дурачком. И даже имя своё произносил, заикаясь.

Зла он никому не делал, но мы всё же иногда побивали его. Просто так. Чтобы помнил, что он — дурачок, а мы — нет. И тогда Саня горько плакал, захлёбываясь слезами. Смотрел, как собака, — преданно и обиженно. И каждый из нас жалел его. В отдельности. Но все вместе — нет. Потому что мы не были дурачками. Но вот дело какое: обижать-то мы его обижали, сами, но другим этого не позволяли. Когда Саня однажды прибежал из соседней деревни, заплаканный, мы все рванули туда и отмолотили обидчиков, хотя их и было больше. Не потому, что было жалко Саню, а потому что он был наш, а нашего — не тронь. Саня ходил гордый и счастливый и с тех пор иногда позволял себе вольности в соседних посёлках и деревушках.

Он везде таскался за нами, как щенок, — на рыбалку, по ягоды... Только на чужие огороды мы старались его не брать, потому что не раз в самый ответственный момент Саня исчезал и вдруг появлялся с хозяевами, которые потом нещадно били тех, кого удавалось поймать. Но родителям о ночном происшествии не сообщали — не в обычае было это.

Наутро мы вылавливали предателя, который, впрочем, от нас и не прятался.

— Ты?!

Он радостно улыбался, прыгал и бил себя в грудь:

— Саня-Саня! Саня-Саня! — И начиналось.

Я первый толкал его в бок, чтобы потом можно было и не бить, потому что в глубине души был на его стороне, но не хватало духу ото всех отделиться...

Два дня Саня от нас скрывался в приземистой избёнке своей то ли бабушки, то ли тетки. Из окошка торчала лишь его белобрысая голова, но, когда кто-то из нас равнялся с его домом, то голова исчезала.

Дом тот был самым крайним, в ста шагах от кладбища. Если б посёлок выстроили в два порядка, то

наш дом — крайний с другого конца — был бы как раз напротив него. А так наш конец тянулся к разъезду, а их — к Кинелю. Направляясь на рыбалку, мы всегда проходили мимо. Кто-нибудь из нас не выдерживал, подходил к окошку и кричал:

— Саня! Айда, чего уж там...

Он тут же выскакивал с удочкой на плече, на которой всегда не хватало то крючка, то поплавка, то грузила. Да он и не рыбачил никогда. А рыбу, если улов был приличный, мы ему выделяли. И когда вечером Андрейкина бабушка спрашивала, не обидели ли мы блаженного, радостно отвечали:

— Не-е! Головля, окуня и ершишек дали.

Но, если честно, дары наши не были столь бескорыстными, как бы нам того ни хотелось. Дело в том, что там, где был Саня, рыба клевала дуром, будь то протока, заводь или омут. И каждый из нас норовил притянуть Саню к себе поближе. Но он никогда долго не сидел на одном месте. Исчезал, как в воду проваливался. Объявлялся под вечер: то в кустах чёрной смородины, то у родника, то возлежал у костра рядом с пастухами.

И ещё для одного нам был нужен Саня. Когда темно, мы боялись ходить напрямик через чащобу тальника. Это был небольшой овражистый участок между Нечистым мостом и пересыхающим старым руслом реки, названным в честь одного моего пращура — Егорьке. Место это называли смрадным, много нехороших историй про него рассказывали не только старики. Можно было плутать там часами среди бела дня, зная при этом наизусть все тропы. А раз там пропала молодая и дородная тётка Татьяна. Пришла лишь под утро, вся изодранная. Созналась мужу, что её лешак изнасиловал. Тот избил её люто. В лешака, конечно, не поверили. Но никто над бедной бабой и не злословил, как это обычно бывает в деревнях. А женщины с тех

пор даже в июльский полдень шли на дойку через то место лишь втроём-вчетвером. Да и муж, говорят, за всю жизнь Татьяну тем происшествием не попрекнул.

Мы старались обходить Смрадное место под любым предлогом. А уж когда стемнеет... И лишь Саня мог шнырять там сколько угодно и водить нас с собой. А делал он это так. Вытаскивал из-под рубахи оловянный нательный крестик и шёл вперёд, весело оглядывая нас. Мы, конечно, посмеивались над дурачком, но шли. И нам не было страшно.

На этом необычные способности Сани не заканчивались. Когда в этих овражистых зарослях, называемых по-эрзянски «шолотька», пропадала корова и знающие люди уже отчаивались её искать, звали на помощь Саню. Он с радостью откликался на просьбу и почти бежал в лес. Сам исчезал там. И уже приходилось искать его. Но мальчика найти было проще, потому что он отзывался на крик.

Однажды, когда заплутала наша Зорька, Саня взялся нам помочь. Но, свернув с тропинки, тут же исчез и лишь иногда отзывался. Дед взял меня за руку, остановился, прислушался и произнёс:

— У Бобринога затона они.

Когда уже в сумерках мы вышли к лужайке у затона, то увидели нашу уставшую и ошалевшую Зорьку и Саню, который сдаивал молоко из её отяжелевшего вымени прямо на землю.

Последняя светлая полоска на небе таяла. Корова облегчённо покачивала головой. Густое молоко, исчезающее в траве, парило. А безумный мальчик, счастливо улыбаясь, выкрикивал:

— Саня-Саня! Саня-Саня!

На рыбалке Саня всё чаще оказывался рядом со мной. Но клёва у меня всё равно не было. Он как-то опять исчез среди бела дня. На крики мои не отзывался.

ся. И я пошёл его искать. Увидел у ручья, в овражке. Он сидел на корточках и смотрел на мальков, которые ста-ями носились в прозрачной воде. Я уже хотел было его окликнуть, как вдруг откуда-то послышалось пение:

— Царице моя Преблагая,  
Надеждо моя Богородице,  
приятельнице сирых  
и странных предстательнице...

Журчал ручей, по водной глади скользили жучки-пльвуны, по течению стелились водоросли, и откуда-то звучало — чисто, почти невесомо:

— скорбящих радости,  
обидимых покровительнице!  
Зриши мою беду,  
зриши мою скорбь...

Я неслышно приближался к ручью и вдруг понял, что это пел Саня!

Он вдруг полуобернулся: со строгого лица его смотрели глубокие глаза, а из уст доносилось:

— Помози ми яко немощну,  
Окорми мя яко странна.

Я подскочил и схватил его за грудки. Заорал:

— Что же ты, гадёныш, дуришь нас всех?!

И врезал. В челюсть.

Саня упал прямо в воду. Поднялся, весь мокрый, и с жалостью и состраданием посмотрел на меня. Повернулся и пошёл вверх по тропе. Исчез. А мне ещё долго чудилось, что откуда-то сверху нисходит пение: «Обиду мою веси, разреши ту, яко волиши: яко не имам иныя помощи...».

Почему-то я никому не рассказал о случившемся. Но с тех пор боялся оставаться с Саней один на один. Да и он стал избегать меня.

А снова сошлись мы лишь много позже у тётки Дарьи. Мы с бабушкой пришли к ней по-беду. Я ещё застал



этот обычай, когда сорок дней после кончины близкого человека к его родственникам ходят соседи с узелком простой еды и немудрёным подарком и как бы утешают своим постоянным присутствием. Обычно соблюдалась очерёдность — одних соседей сменяли другие. Но в тот день то ли моя бабушка что-то напутала, то ли Санина, но мы оказались у тётки Дарьи вместе. По-беду.

В таких случаях соседи обычно утешают родственников, говоря, что покойника Господь прибрал и ему теперь там хорошо. Но у тётки Дарьи случай был особый: её сын, пьяный, вместе с трактором сорвался с кручи, куда заехал, не разбирая дороги. И поэтому старушки лишь вздыхали, повторяя время от времени:

— Это он не сам — случайно сорвался. Батюшка же отпел.

— И в ограде похоронили...

— Сейчас всех в ограде хоронят, — на удивление спокойно возражала тётка Дарья.

Постепенно мы с Саней снова начали сходитьсь. Встречались то в родительский день на кладбище, то в церкви, где он пел «Отче наш...» и «Символ веры». Он совсем не мог разговаривать, но мог петь молитвы. Мы всё больше откалывались от ватаги сверстников и меня уже начали было дразнить за дружбу с дурачком. Но быстро перестали. Потому что смиренным я не был и мог схватить дрыну и огреть любого за обидное слово. Но я всё равно ощущал, что меня держат запасным у Сани и за глаза смеются. На что мне было почему-то уже наплевать. Я даже перестал курить и лазать по огородам.

А умер Саня тихо и спокойно в студёном феврале. Поселковые пьяницы, предвкушая обильную выпивку, с радостью взялись копать могилу. Прихватили, кроме лопат, ломы и кирку, и удивились, что среди зимы земля под снегом оказалось мягкой, как пух, и податливой. И настолько поразились этому, что даже не стали

врать, с каким трудом им пришлось рыть могилу, а наоборот — долго и надоедливо пересказывали, что так легко им никогда не работалось.

На кладбище шли по снежному насту, который вдали сливался с небом, от этого Солнце светило ярко и, отражаясь от снега, слепило нестерпимо. У меня даже слёзы текли, не переставая.

Когда уже укладывали холмик, кто-то спросил:

— А что же родителям не сообщили?

— А куда сообщать?

— Да он им и при жизни не нужен был, а теперь...

Вдруг баба Пелагея, она, оказывается, была сестрой родной бабушки Сани, встрепенулась:

— Степан, да что же фамилию на кресте не вырезал?

— А я знаю, какая у него фамилия — твоя, отцова или материна. Весной допишу — щас холодно.

На грубом кресте были вырезаны лишь имя и даты рождения и смерти.

...Когда через много лет я приехал на то место, где был посёлок, чтобы снимать кино, и пришёл на кладбище, опять же для съёмок, то за могилами деда, бабушки, сестры увидел всё ещё крепкий крест, на котором было вырезано: «Раб Божий Александр», а даты рождения и смерти были смыты дождями, будто их и не было никогда.

...А Саня до сих пор приходит ко мне в минуты, когда кажется, что родная мать уже отреклась и последний друг предал. Он смотрит на меня открыто и прямо, как тогда, у ручья, и тем же чистым голосом, каким пел «Преблагую Царицу», говорит о грехе отчаяния, о прекрасном мире, что нас окружает, о том несказанном Царствии, что уготовано каждому из нас, если мы только сами от Него не отречёмся. Я же почему-то ничего не могу ему ответить и лишь, заикаясь, бормочу одно и то же: «Саня-Саня, Саня-Саня...».

### Бешеный волк

Эту историю баба Дарья рассказывала своим внукам, а те поведали её мне.

Случилось это в начале прошлого, двадцатого века. Село Высокое, что на юге Самарской губернии, славилось не только рекой Большой Иргиз, обильной рыбой, величественным Михаило-Архангельским храмом, но и непредсказуемо-взбалмошными обитателями. Чёрновка во всём соперничала с Зелёновкой, на праздники стенка на стенку жители одного конца села могли до полусмерти отлупить жителей другого. А наряду с истовыми богомольцами, коих было, конечно же, большинство, были и такие, кто, живя рядом с храмом, заглядывал туда один-два раза в год — на Пасху да Рождество. Одним из них и был местный почти двухметровый амбал Иван, по прозвищу Глыба. Всё у него имелось: и справное хозяйство, и жена-красавица, и большая и небедная родня. Всё он успевал: и вовремя отсеяться, и в нужный день баньку истопить, и крепко выпить, и хорошо закусить. На одно только не хватало времени — зайти в церковь. Пусть даже не Литургию отстоять, а о чём-то попросить Господа Бога или поблагодарить Его. «А о чём мне просить. Всё у меня есть», — отшучивался Иван. И действительно — всё у него было. Кроме детей. И чего только он ни делал: к лекарям и знахарям обращался, какие-то снадобья пил и заставлял пить жену. Не помогало. А жена как-то в церкви помолилась и дала обет, какой — память народная не сохранила. Но как бы там ни было, а вскорости крестьянка забеременела. Никак не мог нарадоваться муж — холил и лелеял жену, думая при этом, что помогли диковинные снадобья, потому что

супруга об обете и наложенном на себя строгом посте не рассказывала.

И наконец-то произошло: Великим постом женщина разродилась. Как положено, на восьмой день младенца окрестили, после чего священник сказал, чтобы застолья пока не собирали, а дождались светлого Христова Воскресения. Но новоиспечённый отец только отмахнулся — мол, это для него такой праздник, что он не может ждать три недели...

Под самое Благовещение собрал Иван родственников и соседей. Правда, пришли не все — многие отговорились от этого застолья. Но всё равно народу было немало. Всю ночь пили, пели, гуляли, даже гармошку принесли. Только молодая мама, сославшись на недомогание младенца, к столу не выходила. А наутро полупьяный Иван пошёл в сарай убраться и накормить скотину.

Дверь в овчарню была почему-то приоткрыта. И, только хозяин сделал шаг, как через порог перескочил волк, встал на задние лапы, передними опёрся Ивану на плечи и укусил за лицо. Он закричал и огромными руками сам вцепился в шею волка. На счастье, подскочили соседи с вилами и отбили Ивана. А волк неспешно заковылял за сараи, через огород к поросшей ивовыми зарослями пойме Иргиза. О размерах этого волка потом рассказывали разное, но сходились на одном, что таких волков никто никогда не видел, потому что как это можно — двухметрового человека за лицо укусить?

Ивана Глыбу затащили в дом, уложили на лавку и вызвали фельдшера. Тот осмотрел укушенного и сказал, что рана сама по себе не опасна. Вот если только волк был бешеным, но это вряд ли. Хотя, если Иван начнёт бояться света и воды, надо везти его в больницу в Соплёвку (так сто лет назад в просторечии называли Малую Глушицу).

Темнело. Иван лежал тихо, но лицо его стало естественно напрягаться, губы сохнуть и трескаться. Жена поднесла ковш с водой, но Иван резко вскочил и забился в тёмный угол. Кто-то из родственников зажёл керосинку и попытался поднести её к больному, но тот закрыл лицо руками и заскулил. Жена заплакала и попросила братьев Черниковых отвезти мужа в больницу.

— Запрягай, — сказал старший. — В Соплёвку едем...

Лошадь ступала неспешно, поскрипывала телега, братья помалкивали, изредка оглядываясь на село, где на уже светлеющем небе виднелись очертания Михаило-Архангельского храма.

Вдруг лежавший на соломе Иван резко дернулся и завыл. По-волчьи. Братья встрепнулись, зажгли тусклую «моргалку» и поднесли к лицу больного: оно было искажено, губы безобразно вытянуты вперёд, а подбородок и щёки покрыла быстро отросшая щетина, густая и серая. Глыба, отталкивая «моргалку», завыл ещё истошнее. Ему отозвались... волки. Много волков. Откуда-то из оврага. Потом — из степи. Они приближались, невидимые, и все выли. Выл и Иван.

— Сожрут они нас, — сказал младший брат.

Старший не растерялся:

— Бери палку и обматывай её тряпкой вместе с соломой, в случае чего зажжём. И кнут держи наготове.

А сам, крестясь, начал громко читать молитвы — все, какие знал, без разбору.

Глыба стал корчиться, хрипеть. И смолк. Смолкли и волки.

Старший Черников поднёс «моргалку» к лицу лежащего родственника — блеснули лишь остекленевшие глаза.

Развернулись и поехали назад в Высокое. Дома покойника обмыли и побрили, дивясь тому, какая у него

густая и длинная щетина, а ещё тому, как быстро затянулась рана от укуса. Но даже после обмывания Иван не был похож на самого себя — проявлялось в его облике что-то нечеловеческое...

Лишь в храме после отпевания как-то расслабилось лицо покойного, сомкнулись и приняли должную форму губы, сошла серость со лба. Кто-то сказал, что Иван стал похож даже не на того прежнего здорового Глыбу, а на того, каким он был в детстве...

### Мордовский старик

Действительно: «Затерялась Русь в мордве и чуде...». Вот и все мои школьные каникулы прошли в чувашских и мордовских деревнях — на родине отца и матери. Много там было разного, но, в основном, хорошего. Из этого хорошего иногда всплывают рассказы старших, когда-то казавшиеся неправдоподобными, а сейчас представляющиеся тем немногим истинным, что вынес из детства...

По берегам Кондурчи, Большого Черемшана и обеих Тарханок до сих пор бытует поверие о живущем в тамошних лесах мордовском старике. Почему мордовском? Как мне рассказывал дядя Вася, потому что всегда появлялся в какой-то длиннополой белой рубаше, светлой высокой шапке, да и сам весь такой седобородый и голубоглазый, ну, типичный мордвин в праздничной одежде, какими они были до революции и наряды которых ещё хранятся кое-где по сундукам. А появлялся он всегда неожиданно: или возле очень больных, или возле детей в трудные минуты.

Вот что мне рассказал дядя Вася. Однажды в голодный год пошёл он со своими малолетними сверстниками в лес собирать щавель, грибы, да и просто наломать молодых липовых веток для лепешек. Охота была удачной, лес манил и манил. Набрали полные мешки даров Божьих и решили возвращаться домой. А куда идти — не знают. В лесу смеркается рано, девочки уже плакать начали. Одна села на землю и запричитала: «Ах, Туру, Туру!...». Что в переводе с чувашского означает: «Господи, Господи!». Тут и подсел к ней мордовский старик: «Не плачь, маленькая, я вас выведу. Идите за мной». Пошёл впереди и как бы засветился. Вывел

на опушку и показывает: «Вон туда идите...». А там — холм с остатками порушенного храма во имя Николая Чудотворца, а за холмом — село.

А вот что мне рассказывала мама. Когда она была ещё девочкой, в их деревне была очень многодетная семья. Жили бедно. Случалось даже такое, что молили Бога, чтобы прибрал кого-нибудь из мальцов, всё ртом меньше. А время было тяжёлое: только что прошло раскулачивание. И вот всё большое семейство пошло на поля, оставив без присмотра меньшую, худосочную девочку, потому что решили: всё равно не выживет — уже несколько дней не ела и не спала. Когда же семейство вернулось, то увидели: девочка счастливо спит, положив под щёку кулачок, а на столе стоит ополовиненный чугунок с варёной картошкой. Проснувшись, девочка рассказала, что приходил дедушка, дал копеечку и сказал, что всё у неё будет хорошо. И, разжав ладошку, показала монетку. На вопрос, как выглядел дедушка, ответила: «Как у бабушки на самой большой иконе, Никола Угодник», — выдохнул отец.



**«Петя!..»**

Это случилось в мои московские студенческие годы. Я был совершенно не церковным человеком, но верующим, правда, достаточно отвлечённо: просто знал, что Бог есть. Хотя вера отцов была мне, конечно, ближе любой другой. Крепко дружил я тогда с сокурсником Петром, который мог перечислить все двенадцатые праздники, знал, кто такой Сергей Радонежский, мог отличить Дионисия от Андрея Рублёва, почитал старообрядцев. Но в Бога не верил. К религии относился как к основополагающему пласту культуры и идее, создавшей Русское государство.

Как-то он меня вытащил в Новый Иерусалим, показал весь монастырь, бывший тогда музеем, многое объяснил, просто заваливая информацией.

В общезнании, за чаем, я высказан мысль, что, если бы не было Бога, не состоялись бы такие иконы, монастыри-крепости, да и Россия. Он возражал, что как раз наоборот: живописцы, строители, воины создали идею, назвав её Православием. Завязался спор. Пётр сказал, что лишь тогда поверит в Бога, когда лично ощутит Его присутствие.

— Как это?

— Например, пойду я в лес. И вдруг Он возьмёт меня за руку и оттащит в сторону. А в это время на месте, где я стоял, упадёт сосна.

Студенческие годы, хотя и счастливые, но голодноватые, и поэтому мы почти все где-то подрабатывали. Я устроился неплохо: вечерним разнорабочим в родном институте, так что выходные были свободны — хоть в музей, хоть на природу. А вот другие вкалывали по выходным. Петру с утра надо было на какую-

то фабрику, поэтому спор наш не затянулся до полуночи.

Встретились на следующий вечер. Пётр пришёл с бутылкой красного сухого вина, сказав, что сегодня — праздник. Я не возражал. Но был он какой-то бледный, задумчивый.

— Что случилось?

Оказывается, вот что. Во время работы стал он в очередной раз устанавливать на наковальню форму с каким-то полупластмассовым литьём. Как всегда, без помощи спецприспособлений, а по пояс залезая под пресс и всё делая руками. Вдруг кто-то громко его окликнул: «Петя!...». Причём голос напомнил голос отца, находившегося за тысячу вёрст. Петя встал и обернулся. В это время пресс рухнул на наковальню, раздавив и форму, и всё, что в ней находилось. А в цехе никого не было, все уже ушли на обед.

Пётр налил себе ещё, выпил и произнёс:

— Вербное Воскресение.

...Только много позже я узнаю, что в тот день был такой праздник, что вообще у христиан есть такой Праздник.

### **Спасатель Андрей**

Тогда я был молод. Это был мой первый отпуск после окончания института и года работы в редакции многотиражной газеты. В разгар «бархатного» сезона мы с другом поехали к Чёрному морю и сняли комнату в домике почти что на самом берегу.

Тогда я был здоров. Вечером выпивал с полведра сухого вина, а утром бегал по гальке у кромки воды.

Тогда я был духовно недоразвит. В действующий сочинский храм, в недействующий Гелатский монастырь, в полуразрушенные абхазские обители VI века ходил на экскурсии.

Тогда я думал, что жизнь безконечна и я никогда не постарею, и не представлял собственную смерть конкретно.

Тогда моей любимой песней была «Я вышел ростом и лицом, спасибо матери с отцом...». И я ощущал, что эта песня — про меня.

Тогда...

Впрочем, тогда я уже написал цикл «Всадник», «Ломают кладбище, ломают...» и ещё несколько стихотворений, за которые и сейчас не стыдно.

...Море штормило ещё с утра, и это радовало — жара уже надоела. Мы с другом сидели на пустынном пляже и мрачно-глушили вино, потому что с девушками не вышло. Вино по этому случаю взяли покрепче. Но вскоре и это надоело. Пошли в шашлычную, но не в ближайшую, а к пансионату, с надеждой, что, может, там выйдет.

Жизнь тогда была дешёвая и отпускных денег хватало на многое. Заказали. Куражились. Действовали по-всякому: от рассказывания двусмысленных анекдо-

тов до чтения любовной лирики Пастернака. Но что-то в тот день не выходило.

— Пошли, — скомандовал я другу.

И в это время музыка, навязчиво звучавшая в зале, прервалась и по радио в очередной раз передали о шторме, о том, что нельзя купаться и выходить в море.

Долго бродили по пляжу. Завидев группу молодых людей, присели так, чтобы можно было их наблюдать. Парни и девушки выпивали, ели виноград. Рядом стоял транзисторный приёмник. Один атлет (я всегда не любил этих красавцев с идеальными фигурами) разделся и направился к воде. Ему вслед что-то кричали, но он улыбнулся и помахал рукой. Но не успел он приблизиться к морю и на десять шагов, как его обдало мощнейшей волной. Красавчик поёжился и вернулся. Над ним посмеялись и протянули стакан.

Тогда я встал и пошёл к морю. На том месте, где останавливался красавчик, снял одежду и, как только волна захлестнула меня, бросился вперёд. И через несколько мгновений был метров за пятьдесят от берега. Меня швыряло, и я радостно плыл. Потом обернулся — и не увидел берега. Поплыл назад, но было очень трудно. Решил взять в сторону и взобраться на пирс. Получалось. Но вдруг понял, что меня разобьёт о железобетонную глыбу. Снова поплыл к берегу, стараясь сливаться с накатывавшей волной. До берега оставалось немного, но отхлынувшая волна отбросила меня назад, перевернув несколько раз. Я нахлебался и воды, и песка. Но всё ещё пытался и пытался выбраться. Пока силы мои не кончились и не перестал ощущать солёность воды. И тогда я понял: всё. И страшно стало за мать: не переживёт — пятая смерть её ребёнка, последнего.

И тогда я взмолился, первый раз в жизни: «Господи, помоги!...».

И увидел Лик в полурадужном сиянии и протянутую руку. И оказался на берегу. Какой-то безусый паренёк, по пояс раздетый и в белых штанах, хлестал меня по щекам.

Потом подбежали люди. Кричали: «Идиот!». — «Молодец, выбрался». — «Да это спасибо Андрею». — «Какому Андрею?» — «Спасателю с шестого причала». — «Хватанул — шестой причал где...». — «Да нет на шестом никакого Андрея...».

Я встал и осмотрелся, ища того паренька. Но его нигде не было, на всем огромном пляже только вокруг меня теснились люди.

— На, на — штаны надень, — толкал меня друг, — а то стоишь в таком виде, будто только что мама родила.

### Под неожиданным покровом

Тогда я только начал воцерковляться. И в один осенний вечер друзья мне сказали, что в автобусе у паломников в село Ташла освободилось место и я должен обязательно поехать к святыне. Я согласился, хотя на этот вечер у меня была назначена встреча с друзьями другими, из туманной юности.

Встреча та затянулась почти до утра: было немало выпито, спето, «потравлено» анекдотов. Но всё же дождливым утром я приехал к назначенному месту, сел в автобус, где паломники уже негромко распевали молитвы. И почти сразу уснул.

Когда же приехали в переполненный храм, я прижался к колонне и задремал уже по-другому, почти как в детстве — беззаботно и легко. Потом какой-то мужичок толкнул меня в бок и сказал, что пора идти Крестным ходом к святому источнику. Всю дорогу он мне рассказывал, что приезжает сюда уже не в первый раз: то старуху-мать с больными ногами привезёт, то сам от запоя спасается.

А когда уже подходили к источнику, он доверительно прошептал, что сегодня обещали явление Божией Матери на небе.

— Кто обещал-то? — спросил я.

Но мужичок уже растворился в толпе стремящихся первыми искупаться в источнике. Я занял очередь, а сам направился к колодцу, зачерпнул студёной воды и выпил сразу литра полтора, несмотря на морозящий дождь и промозглый ветер. И стало так тепло!

Потом какой-то паренёк дёрнул меня за руку и сказал, что подошла наша очередь купаться. В купальне нас оказалось трое: я, этот тринадцатилетний паренёк и старик, который представился плотником.

Глядя на них, я трижды перекрестился и трижды

окунулся с головой в ледяную воду. Стало жарко, но жар шёл откуда-то изнутри. Когда вышли на улицу, увидели группу женщин, которые стояли полукругом и пели молитвы Богородице.

Вдруг опять возник тот мужичок и сказал:

— Это они ждут, когда будет явление Божией Матери. Давайте стоим.

Мы присоединились к этим женщинам и мальчик со стариком-плотником тоже подхватили молитвы.

Народ большей частью уже расходился и разъезжался, ушли и священники.

Вот тут-то серые небеса и разверзлись, и в небе возник контур Богородицы с Её благодатным Покровом. Он светился нетварным светом, не таким, как светит солнце или луна.

Потом почти над нашими головами образовался такой же крест. А некоторые увидели, как в воздухе носятся разноцветные подобию шаровых молний. Но этого я не видел.

— Ты шарики видишь? — спросил я того мужичка.

— Нет, — ответил он, — это потому, что мы вчера с тобой квасили.

Не увидели не только шаровые молнии, но и само видение Божией Матери те паломники, что приехали сюда за святой водой, как за дефицитным товаром — с баклажками, бидонами, с огромными канистрами... Не важно, с тележкой пришли или приехали на иномарке.

Я почему-то чудесному явлению почти совсем не удивился, а обратной дорогой опять дремал и время от времени бормотал: «Ну, раз обещали явление, ну, и сбылось...». Хотя другая мысль свербила: «А кто обещал-то?».

Уже подъезжая к Сокольим горам, мы увидели из автобуса двойную радугу. Верующая женщина объяснила мне, закончившему ВГИК, но ещё не прочитавшему Библию, что радуга означает Божий завет с нами, людьми.

Вот так завершался ещё один день моей жизни, после которого воцерковляться мне стало значительно легче.

## В Горицах

Наш теплоход долго шёл вверх, сначала Волгою, потом Щексною. И вот мы в Горицах. Много позже я узнал не только об историческом, но и о мистическом смысле этого древнего поселения, о значении его монастыря в судьбах России, а пока это был для меня просто ещё один живописный посёлок на русском Севере, где я до этого не был.

Народ шумной толпою скатил с палубы и занялся кто чем в ожидании автобуса до Кирилло-Белозёрского монастыря, куда и предстояла экскурсия. А мы, группа самарских паломников во главе с протоиереем Виталием Калашниковым, решили пойти в Горицкий монастырь, посещение которого, вероятно, по его тогдашней ветхости, в программу экскурсий не входило. Извилистые улицы, поросшие муравой, одноэтажные дома, лениво таявкающие собаки, гуси, нежащиеся в лужах, мосток через речушку и монастырские стены, до сих пор ещё мощные и внушающие почтение Ворота.

Первое попавшееся здание — полуоблезлый, но величественный храм с огромной табличкой «Расписание работы клуба».

В бывших монастырских постройках живут люди, в сараях держат коз, свиней. По обширному подворью ходят куры, ковыряются возле могил, некоторые из которых уже обновлены и на крестах можно прочесть, что там покоятся «Инокinya...», «Игуменья...», «Княжна...». Почти ни о чём не говорим. Лишь отец Виталий рассказывает, что ведутся переговоры с местными властями и организацией по охране памятников о возвращении монастыря Церкви. Вот и всё, паломники уходят. Я прошу батюшку в случае чего



попридержать автобус, так как хочу про Горицы сделать отдельную телепередачу «Символ веры». Отец Виталий благословляет, и мы с оператором начинаем снимать этот странный, отмеченный благодатью Божией и явным дьявольским присутствием мир. И вдруг я понимаю, что без живого человека здесь не обойтись. Но новых насельников ещё нет, а старых жителей не видно. Хотя, вон из двухэтажного дома, притулившегося к монастырской стене, вышел человек, невысокий, жилистый, в тельняшке и серых брюках, заправленных в довольно приличные сапоги. Увидел нас и почти подбежал.

— Чё делаем, мужики? — несильно от него разило вчерашним перегаром и свежевypитой водкой.

— В кино играем, — ответил я. — Может, снимешься, расскажешь, как ты тут живёшь-можешь?

Оператор выбрал точку, Миша (так звали нашего нового знакомого) одёрнул тельняшку и начал рассказывать, как он родился в монастыре, как вон в тот дом, где сейчас какой-то склад, ходил в детский садик, а в клуб (указал на собор) — на танцы, где девок тискали. И всё бы ничего, складно рассказывал Миша, да вот через каждое слово — матерщина. Я его несколько раз останавливал, переснимали — ничего не получалось.

— Нет, Миш, завязываем это дело, я твой рассказ лучше своими словами передам.

— Как хочешь. Ну, что, теперь давай на опохмелку!

— С какого перепуга?

— Так я же работал, — почти растерялся мужичок.

— Ничего себе работа. Если я каждому буду за такое...

— Жадный, что ли?

— Нет. На опохмелку, если есть, я всегда даю, сам знаю, что это такое. А ты уже, — несколько призадумался, — уже граммов сто пятьдесят накатил.

И тут Миша стал так сквернословить, что я не выдержал и схватил его за грудки:

— Послушай, ты в монастыре, и не матерись здесь так.

А он мне своё, что это его дом, что он здесь родился, поэтому, что хочет, то и делает. Потом стал высказывать предположения, что я «за попов, и хочу отнять у него квартиру», что при Советской власти лучше было, потому что у него была работа, вдруг схватил какую-то палку и замахнулся. Оператор прикрыл собою камеру, я сделал шаг в сторону и просто перекрестил взбесившегося. Миша выронил палку, как-то скорчился и почти заплакал:

— Ты не думай, я ведь крещёный. И душа болит. А вы всё равно уходите, потому что могу чего-нибудь сделать.

И, когда мы уже переходили мосток через речку, вдруг слышали из-за монастырской стены: «Господи, не могу! Ненавижу! Спаси, Господи!».

### **Нарушение обета**

Лет десять тому назад с мужем моей знакомой случилась беда: он преступил закон. Не потому, что хотел совершить преступление, а от недопонимания чувства ответственности за всё, что мы совершаем, и вечного русского «авось». Ему грозило заключение — оттого, что у нас закон, что дышло, оно могло быть немалым. Жена обращалась за помощью к знакомым, родным, в правоохранительные органы, пыталась сама что-то предпринять — всё впустую. И тогда взмолилась Богу, чтобы с мужем поступили по совести, а не по закону. Пришла к верующей соседке и попросила её помолиться вместе с ней об освобождении несчастного и даже дала обет при счастливом исходе родить ребёнка (хорошо бы девочку!) и сделать всё, чтобы муж посвятил свою жизнь Богу.

И вот из районного центра приходит известие, что муж подвергается немалому, но только административному(!) наказанию, которое вскоре и удалось возместить, продав автомобиль.

А через пару месяцев женщина эта забеременела. Снова пришла к соседке и говорит, что не может рожать, так как из-за продажи автомобиля и некоторых вещей материальное положение в семье очень тяжёлое, а тут ещё эти нагрянувшие горе-реформы совсем разоряют... Знакомая моя сделала аборт. И начались беды-злосчастия в виде всевозможных женских болезней. За неполных десять лет она перенесла восемь операций, одна сложнее другой, лишилась здоровья и не может нормально вести хозяйство, что, конечно, не способствует росту семейного благосостояния.

Не знаю, насколько она осознала свою вину перед Богом, но знаю, что уже не первый год она ходит по деревне и собирает в семьях ненужные детские вещи, перешивает, латает их и разносит по домам малоимущих. Иногда напечёт лепёшек или простеньких пирожков и опять же несет в дома, где дети из-за болезни или пьянства родителей недоедают...

Вот и сегодня, приехав к родственникам, я вышел поздно вечером подышать во двор. Во всей деревне уже ни огонька — крестьяне привыкли рано ложиться и рано вставать, лишь в доме, напротив, у той самой женщины, горит свет. Как мне сказали, она опять собрала разные вещи и латает их для другими рожденных мальчиков и девочек...

### Цыгане шумною толпою

Эту историю рассказал мне протоиерей Владимир Назаров, настоятель храма Рождества Христова, что в Большой Царевщине возле Самары.

Отслужили они предпасхальную службу, вымыли, вычистили храм, облагородили церковный дворик, слегка потрапезничали и, уставшие, уже собрались домой, чтобы прилечь часа на два—на три перед главным Христианским Богослужением.

И вдруг случается что-то невероятное: церковные ворота, как в лживом фильме Эйзенштейна «Октябрь», штурмуют разношерстно одетые люди самых разных возрастов, но почти все невообразимо грязные. Церковные старушки подумали, что это нашествие варваров. Но «варвары» повели себя несколько странно: окружили священника и пали перед ним на колени.

Со всех сторон слышались крики:

— Батюшка, не погуби!

— Смилуйся, отец родной!

— Хотя бы ребёнка, ребёнка окрести!

И продолжалось это несколько минут, так что священнику чуть не порвали одежды.

И только тут отец Владимир понял, что перед ним цыгане, а он знал, что у цыган всегда есть «барон» и что с ним-то и нужно разговаривать. Тогда он что есть мочи крикнул:

— Тихо!

И в наступившей тишине спросил:

— Кто у вас барон?

Из толпы выделился седовласый и прилично одетый мужчина, и они с отцом Владимиром отошли в сторону от окружавшего их народа.

— Послушай, цыган, что случилось-то?

— Да, батюшка, сам толком не пойму. Объявился тут у нас какой-то старичок, собрал всех пожилых в круг, долго беседовал, а потом объявил, что, если наш табор до Пасхи не окрестится, то все сгорят в неминуемом огне. И исчез... И тут такой переполох начался: мы в пойме Сока стоим возле твоего храма.

— Креститься — это очень хорошо, — ответил отец Владимир, — но ведь надо подготовиться, особый день назначить. А сегодня времени нет, да и мы все устали. Объясни им.

— Кому?! Это же цы-га-не. А после явления этого «пророка» они и меня не слушаются.

И пока они разговаривали, вдруг заметили, что весь табор переместился в храм. И все ждали только одного. Как рассказывал мне отец Владимир, своим запахом они, казалось, перебили запах ладана.

— Ну, крестил я их всех. Насколько это было канонично, сам понять до конца не могу. Но, в любом случае, из идолопоклонников или мусульман они стали христианами.

Цыгане вскоре опять куда-то перекочевали из этих мест.

А я слушал рассказ священника и думал о том таинственном старичке, что заставил весь табор окреститься: кто он, откуда и куда исчез?

И ещё смотрел на величественный Царёв Курган и был уверен, что он видел многое на своём веку, но такой Пасхи — никогда.

### Володя Церковный

Как я ни силился, но так и не мог вспомнить его лица. Помню, что был маленький, юркий, в чём-то заносенно-сером, но достаточно опрятный. Раздражал. Потому что, как правило, всегда появлялся передо мной, крутил головой, покашливал, а потом исчезал. Я продвигался ближе к клиросу или амвону, почти вплотную к впереди стоящему, чтобы Володя не мог опять отвлечь меня от молитвы. А то вот так: появится — исчезнет. Но потом он вдруг исчез надолго. Несколько недель его не видел. В глубине души даже немного радовался. И вот сейчас отец Виталий Калашников на проповеди в Софийском храме заговорил о нём. Что нашли в одном из самарских моргов с многочисленными переломами и ушибами. Но умер он не от этого — замёрз.

...Когда Володя появился в нашей церкви, точно, наверное, никто не скажет. Откуда — тоже, то ли с Кавказа, то ли из Средней Азии. Беженец. Где жил? Не знаю. Вроде была какая-то тётка, а может, врал. Фамилию его, по-моему, никто не знал, да и паспорта у него не было. И его стали называть просто: Володя Церковный. Не потому что он был настолько воцерковленным (на воцерковленного он совсем не походил), а потому, что почти всегда находился в церкви — есть служба или нет. А ещё частенько подходил к отцу Виталию и просил денег на сигареты. А тот ему: мол, что же ты, Володя, у священника на сигареты спрашиваешь? А он — то ли юродствуя, то ли по простоте душевной: «Мне много не надо, я же «Приму» курю...» — «Володя, если бы ты у меня на хлеб просил...» — «Да хлеб мне и так дадут!».

Иногда Володя приходил к отцу Виталию домой. Где забьёт какую-то дощечку в сарае, дворик подметёт

и опять: «Батюшка, дай на сигареты». Отец Виталий вздохнёт, улыбнётся — и сдаётся.

...А с амвона продолжается рассказ о том, как отпевали Володю, как вдруг по его изуродованному лицу из одного глаза потекла слезинка. Отец Виталий сам плачет. Плачут многие прихожане. «А потом свершилось самое невероятное, — рассказывает батюшка. — Когда я подошёл ко гробу, чтобы вложить в руку раба Божия разрешительную молитву, его пальцы зашевелились, а когда записочка была в ладони, они сами сжались в кулачок. И это после того, как он несколько недель пролежал в морге и неизвестно, сколько в снегу на улице».

Нет Володи, нет уже и отца Виталия. О своей болезни при наших встречах батюшка сказал лишь однажды: «Послушай, у нас с тобой одна нутряная хворь, так вот, на ночь лучше пить не кефир — слишком резок, и не ряженку, а варенец». И всё. А в последний раз, когда я подходил после Литургии ко кресту, отец Виталий спросил: «Куда исчезал? Почему так выглядишь?» — «Да опять, батюшка, скрутило, чуть не сдох». Он улыбнулся: «Неправильно говоришь. Надо: умер, преставился... Но, думаю, тебе ещё рано».

А отца Виталия уже нет. Преставился. Нет Володи Церковного, нет кого-то из моих родственников и соседей. А я всё живу, болею теми же болезнями, грешу теми же грехами. И одно только изменилось в моей жизни: если раньше в храме я старался пробиться вперёд, раздражался, когда кто-то мешал мне, то теперь, заметил это совсем недавно, стою в последних рядах — такой долговязый, неуклюжий, постоянно пошатывающийся. Все равно, наверное, кому-то мешаю, но всё-таки... И, когда до меня не доходят отчётливо слова Евангелия или почему-то отвлекаюсь от произносимой проповеди, в душе рождается и звучит одна молитва, того самого мытаря:

*«Боже, милостив буди мне грешному».*



### Как я молился Апостолам

Рыбак я так себе, даже крючок к леске привязать не умею. Но рыбалку люблю. Даже не столько саму рыбалку, сколько то, что с ней связано: чистый воздух, запах стенного разнотравья или раскинувшегося за спиной орешника, костёр, уху свежайшую, спокойную и незамысловатую беседу...

Вот и в тот раз, когда приятели предложили поехать «на карпа», с радостью согласился. Загрузились в «москвичок»: они хитроумные раздвижные удочки с кручёной леской и коваными крючками, сачки и прочие рыболовные прибаамбасы, я — палку с леской и крючком, стёганку ещё отцовскую и термос с чаем.

Приехали в почти заповедную глушь — до ближайшего села, где оставалось домов тридцать — километра четыре. Степь, недалеко редкая лесопосадка. Пруд вытянутый, сужающийся вдаль, камыш, а вокруг него — почти изумрудная трава.

Выбрали место у небольшого затона, расположились с подветренной стороны. Приятели мои как-то сразу рассредоточились, занимая наиболее рыбные, на их взгляд, места. Я же расположился, где поудобнее: недалеко от машины и рядом с понравившимся мне камышом.

— Не будет здесь клёва, — сказал один, подавая мне баночку с червями.

Расселись, раскинули удочки, щедро раскидали прикорм, в мою сторону бросив лишь горсть. Мне стало как-то не то что обидно, а досадно, вот — за лоха держат. И неожиданно даже для самого себя говорю:

— А первую рыбу поймаю я.

Мужики усмехнулись и ничего не сказали.

А я вдруг представил Апостолов Христовых, как они тянут невод на берегу этого пруда, и где-то там, почти у горизонта, идёт Он, всё приближаясь и приближаясь. Я нередко представляю евангельские события очень зримо и с привязкой к той местности, где нахожусь. Но в тот раз я всё ощутил особенно чётко, даже показалось, что слышу неразборчивые голоса и шуршание хитона вдали Идущего. Вздрогнул и попросил Апостолов о малом: чтобы рыбалка моя была удачной, как у них.

Поклёвка. Ещё. Поплавок ушёл в воду. Тяну — приличный карп в полторы моих ладони. Мужики усмехнулись, но уже несколько по-другому.

— И вторую рыбу поймаю я! — произнёс уже весело. Опять поклёвка и опять поплавок — гусиное пёрышко исчез в воде. Точно такой же карп.

Мужики занервничали и, как по команде, подвинулись к моей камышовой заводи. А я мысленно беседовал с другими рыбаками и благодарил их.

Так я вытащил семь карпов, а приятели мои — по одному-два. Они уже совсем близко присели ко мне со своей тихой и плохо скрываемой ненавистью. Вот тогда-то я поднялся и сказал:

— Всё, надоело. Пойду грибы поищу, — взял пустое ведёрко и двинулся в посадку.

...Грибов не было. В траве шуршали ящерицы, в небе звенел жаворонок, почти до самого горизонта волновался ковыль.

Я вернулся, сел на своё место, чуть раздвинув мужиков. Клёв у них был очень приличный. Радовались. Но один тут же сказал:

— Сходил бы вон в тот овраг, может, там луговички есть.

— Нет, сейчас я должен поймать самую большую рыбу.

Рыбаки ничего не ответили, а только сосредоточеннее уставились на свои поплавки.

И тут я попросил не просто Апостолов, а конкретно Андрея Первозванного как почти что земляка, и поплавок мой ушёл в воду. Потянул — и испугался, что леска не выдержит. И тут старший из нас подскочил с сачком и скомандовал:

— Осторожно водой к берегу...

Через три-четыре минуты он подхватил карпа сачком и вытащил. Это был действительно самый крупный карп на сегодняшний день. Все радовались, твердя: «Дуракам — счастье», «Новичкам всегда везёт» и тому подобное. А я вдруг услышал странный звук за облаками, медленно приближающийся. Понял: журавли. Взял телогрейку-стёганку, бросил её подальше от берега и лёг на спину. Ждал минут двадцать, и вот они двое пролетели, курлыча, высоко в небе. Приятели мои лишь слегка задрали головы и опять уставились на воду — клевало неплохо.

А я всё лежал на земле и надо мной было бездонное небо, в котором таял журавлиный крик и шелест хитона Вечно Идущего.

## Компьютер

Оказался я как-то в одном учреждении, где, в том числе, занимаются и социальной защитой населения. Сажу и жду очереди в нужный кабинет, а напротив в холле выдают малоимущим пакеты с социальной помощью. Подсаживаются рядом две старушки, ждут очереди на раздачу, завязывая беседу:

— Лучше б деньгами выдавали. В прошлый раз пшено, какую-то серую лапшу да чай, что пыль, дали.

— Это — кому как. Вот Ольга бы со своими деньгами сразу пропила, а тут, хошь не хошь, а лапшичку сварить.

Вдруг от прилавка донёлся голос:

— Как же так, дочка! Ты же знаешь, какие пенсии у нас со старухой. Да и паёк мы здесь не первый месяц получаем.

— Всё так, дядь Коль, — отвечает раздатчица. — Но в этом месяце компьютер вас в список не внёс.

— Почему?

— Не знаю.

— Ты в районное отделение позвони.

— Да они ничего не решат, потому что данные ваши уже внесены в компьютер. Когда он распорядится, тогда и выдадим социальную помощь.

Ещё лет десять назад, когда друг говорил мне, что скоро будет неперсонофицированная сила, которой не смогут противиться даже люди, обладающие властью, я это воспринимал чисто образно, а тут... Время гораздо ближе, чем кажется многим из нас.

### Иван-разведчик

В то лето я отирался у овощных баз на Товарной, куда прибывали вагоны с арбузами, дынями, душистыми южными яблоками. Подворовывал. Что-то продавал, что-то нёс домой, но большую часть съедал там же, в зарослях высоченной травы.

Но однажды меня накрыли дружинники и здорово напугали, сказав, что сдадут в милицию. Этого мне не нужно было совсем, потому что я уже тогда состоял на учёте именно в линейном отделе.

Я в голос ревел, размазывал по щекам слёзы, обещал больше этого не делать, клялся, что сирота и живу один с глухонемой тёткой. Вот эта несуществующая тётка их и разжалобила.

— Ладно, давай отпустим, — сказал старший.

Я уже стал успокаиваться и решил, когда отпустят, нырнуть за составом в траву, проследить, куда пойдут дружинники, ведь надо же выведать, где у них штаб, чтобы в следующий раз так глупо не попадаться.

Но вдруг тот же старший произнёс:

— Дай слово, что больше не будешь здесь воровать.

— Честное пионерское? — с надеждой спросил я.

— Нет, честное мужское слово.

Я опустил глаза:

— Даю честное мужское слово, что больше не буду здесь воровать.

Так я очутился на базаре.

Шёл, приглядывался и вдруг из-за ящика увидел голову. Голова сказала:

— Подойди.

Ног у него совсем не было. Он то ли сидел, то ли стоял на низкой тележке с подшипниками вместо

колёс. Рядом лежали деревяшки-толкачи, напоминавшие большие утюги.

— На, вот здесь подкрути, — и протянул отвёртку.  
Я сделал всё, как велели.

Он достал из холщовой сумки огромное красное яблоко.

— На.

— Спасибо, не надо.

— Бери... Да не прячь ты его — ешь, мытое.

Яблоко хрустнуло.

— Дядь, а вы кто?

— Я — Иван-разведчик. Называй меня просто Иваном. И на «ты».

Яблоко хрустело.

— Красть ты здесь не будешь.

— Я не краду...

— Я не говорю, крадёшь или нет. Я говорю: не будешь. А денег мы и так зарабатываем.

Он был коренастый, обветренный и чисто выбритый. Тёмные волосы с проседью. Взгляд прямой и уверенный. Мужик.

Так мы и подружились.

Рано поутру «столбили» торговые места, а потом за небольшую плату сдавали их крестьянам. Сообщали торговцам о вчерашних ценах и ценах на других рынках, за что те иногда одаривали нас своим товаром. Я ещё находил Ивану людей, которым нужно было починить обувь, а он брал её с собой и утром возвращал.

Нас, мальчишек-девчонок, у Ивана всегда было не меньше трёх-четырёх. И, когда с похмелья не выходил на работу дворник, мы умудрялись даже базар убрать. Потом у нас появилось своё торговое место, где мы продавали почему-то исключительно репчатый лук. Не свой, естественно — Иван с кем-то договаривался.

Однажды у него опять ослабела одна из дужек на

тележке. И я, наклонясь, стал опять подвинчивать болт. Из-за ворота рубахи у меня вывалился оловянный крестик на суровой нитке.

И я впервые услышал другой голос Ивана — не жёсткий и властный, а с доброй слезой в глубине:

— Веруешь в Бога?

— Не знаю.

— Когда в последний раз причащался?

— Великим постом.

— Давненько, — вздохнул он.

Я вернул Ивану отвёртку. А он расстегнул на себе рубаху и показал серебряный крест на цепочке и икону на тонком мякинном ремешке.

— Это — Георгий Победоносец. Он-то и спас меня в войну. Когда на фронт уходил, мать повесила. Я-то выжил, а она... Крест всегда носишь?

— Только на каникулах. А то, когда на физкультуре переодеваешься, смеются. Надо мной и так смеются — длинный, а бегаю хуже всех. Потому что у меня ноги большие.

— Больные, — хмыкнул Иван. — У меня их вообще нет, а ты видел, чтобы надо мной кто-нибудь смеялся?

— Да и учителя, конечно. Говорят: ты же пионер.

— Пионер... Впрочем, я тебе не учитель и не судья.

— А кто ты мне, Иван?

— Друг.

И тогда я решился спросить.

— А как у тебя с ногами вышло?

— Мы больше по «языкам» работали. Войдём в тыл к немцам, выследим чин, что постарше, сцапаем — и к своим в штаб. Удачливее меня никого не было. Даже слава пошла по обе стороны фронта. Ну, и возгордился. А это последнее дело, как я потом понял. И вляпались мы в Карпатах. Ребят всех положили, а меня зажали так, что бежать некуда. И уже самого взяли как

«языка». Не застрелился, видно, тогда уже ощущал, что грех... Эсэсовцы из украинской дивизии «Галиция» хуже немцев были. Стали пытаться. Раздели, связали, положили на дощатый настил и начал один западнянин мне ноги рубить. От самых кончиков пальцев. По сантиметру. Сознание от боли нестерпимой как бы отключилось, а душою впервые в жизни взмолился Господу. Сколько времени прошло, не знаю, но слышу, будто издалека палач мой орёт: «Отрублю я этому коммуняке голову!». Коммуняке... Видел же на мне и крест, и иконку... Я сознание-то и потерял совсем. Очнулся уже в госпитале. Потом мне рассказали: наверное, эсэсовцы решили, что я умер, и бросили. А женщина с соседнего хутора подобрала, культи ремнями перетянула. А тут и наши прорвались.

— Иван, а правда, что Жуков всю войну с крестом проходил?

— С двумя. Один — нательный, а другой, говорят, был прицеплен с внутренней стороны мундира — тот, Георгиевский, что ещё в первую германскую заслужил. Поэтому он ни одного сражения не проиграл.

Откуда-то выскочила плюгавая Лариска:

— Иван, лук кончается, дуром берут!

И он поехал договариваться о новой партии лука. С тех пор мы с Иваном каждый день находили время, чтобы в уединении, насколько это возможно на базаре, поговорить о вере, О Боге, о Царствии Небесном, которое Иван представлял то как что-то неизъяснимо-прекрасное, то, наоборот, до предельности конкретное и ясное, как морозное утро в заснеженной деревушке, где живут одни братья и сёстры. И как же хотелось поскорее туда!

— Заслужить надо, — вздыхал Иван и неожиданно добавлял: — На крытом рынке, конечно, лучше купола Петропавловки видны с крестами. Но там много не заработаешь.



Невдалеке остановилась голубая «Волга» на высоких рессорах и со скачущим оленем на капоте. Оттуда вышел солидный седовласый мужчина и направился к двери с табличкой «Дирекция».

— Интендант пархатый, — без злобы сказал Иван, — я его ещё по Харькову помню, сытого-сытого.

— А что такое — интендант?

— Да хуже обозника, — отмахнулся разведчик.

Помолчал, закурил папиросу «Север» и вздохнул:

— Мы умрём, а эти будут жить долго, славу на себя возьмут и ещё перед немцами извиняться будут.

— Как это — перед немцами извиняться?

— А так. Но, даст Бог, не доживу до этого.

Поговаривали, что Иван был запойным. Что заводился с полстакана, а потом валялся среди мусорных бачков и выкрикивал что-то бранное и непонятное. Но я его никогда не видел пьяным. Даже от предложенной кружки пива он отказывался и говорил мне:

— Никогда не пей и не кури, не пакостись.

— А сам куришь.

— Так что ж в этом хорошего! — И, чуть помолчав, промолвил: — К тому же это не самый страшный мой грех.

— А какой самый страшный?

— Людей убивал.

— Сам же говорил, что это были враги Божьи.

— А вдруг попадались и другие? Чем дольше живёшь, тем больше сомневаешься, — и достал папиросу, но, взглянув на меня, спрятал обратно...

К вечеру за Иваном приезжала Анастасия — статная, со следами былой красоты. Она сажала его на специально приспособленную тележку, он прихватывал свой «самокат» и извечную холщовую сумку, и они отправлялись в путь. Она, высокая и прямая, везла за собой коренастого, крепкого и безногого добытчика.

Однажды я спросил Ивана:

— Анастасия тебе кто? Одни говорят — жена, другие, что уже — сестра. Разве так может быть?

— Может быть всё, если на то воля Божья. Анастасия — моя хозяйка.

На базаре Ивана не то чтобы любили, а — чтили. Почти каждый торгующий норовил дать ему что-нибудь из своего товара. Но он брал не у всех. А если что и брал, то обычно тут же отдавал местному дурачку, которого я подозревал в том, что он лишь притворяется дурачком, чтобы кусочек полакомее перехватить.

Я вообще не знаю, оставлял ли Иван себе что-нибудь из дарёного, ведь сколько раз видел, как он доставал из сумки то горсть урюка, то мандарин и отдавал какой-нибудь старухе, торгующей на улице травами или грибами:

— Возьми, Марковна, внучку угостишь.

— Спаси тебя Господи, Ванюша!

Но однажды он не появился на базаре. Не появился он ни на второй день, ни на третий. Врали, что Иван умер. Никто из нас, конечно, не верил. А дурачок за такие слова даже вцепился губами в руку одного из торговцев, да так, что тот взвыл.

...Потом я проживу много лет, почти целую жизнь, и не буду вспоминать об Иване-разведчике. Помнить-то я его буду всегда, но в самой глубине души, куда не пускают никого — ни мать, ни любимую женщину, ни друга. А явится он передо мной неожиданно, во всей своей мощи и беспощадности. В светлом октябре 93-го. На Смоленской. Когда меня будут забивать откормленные омовцы. Когда, теряя сознание, подумаю как о чём-то постороннем: как они не устанут? Как им не надоест это однообразие: всю жизнь ногами — лежа-чего?

Но чья-то сильная рука резко дёрнет меня с мосто-

вой. Офицер. Почти с меня ростом, но чуть постарше и намного здоровее. Майор. Оттащит в сторону, залезет во внутренний карман и достанет студийное удостоверение.

— Что же ты, режиссёр, не своим делом занимаешься? Тебе здесь надо с камерой работать, а не против нас с голыми руками. Куда тебе против нас.

И потащит от Смоленской к Сивцеву Вражку. И дорогой всё будет объяснять, что есть «менты» и есть такие, как он, другие. Что он тоже русский. И на нём тоже крест есть... Чуть углубившись в кривую улочку, мы остановимся.

— Один дальше доковыляешь?

— Да. (Я тогда жил в самой глубине Арбата, в Малом Власьевском, в доме рядом с тем особняком, откуда одержимый Булгаков запускал в полёт свою Маргариту). Да, — повторю я и, сделав несколько шагов, обернусь.

Майор всё будет стоять и смотреть на меня. И я скажу:

— Майор! Я верю, что ты — отличный мужик, но ты не Иван-разведчик.

Он ничего не поймёт, но обидится. Хотя и попытается сделать вид, что просто ничего не понял. Потом повернётся, как-то сразу ссутулится и пойдёт в противоположную от меня сторону.

А минут через пять я буду валяться в своей комнатухе на самодельном лежаке и думать, что, по сути, я ничем не лучше того совестливого майора, потому что тоже не Иван-разведчик...

Через год, уже в Самаре, из окна второго этажа увижу высокую и прямую женщину. За собой она будет везти тележку с коренастым и безногим человеком, держащим в руках две деревяшки, похожие на утюги. Я вскочу, чтобы выбежать на улицу. Но тут же сяду. За-

чем? Вблизи можно и обознаться, а издали так хорошо видно, что это — Иван-разведчик со своей хозяйкой. Через квартал они должны повернуть налево, в Покровский собор, ведь сегодня — Покров Божьей Матери. Год назад, когда на расстрелянной площади поминали убиенных, Она Сама явилась в небе над Москвой. Её видели тысячи православных...

Через полчаса я встану и тоже пойду в храм, но в другой. Потому что в Покровском побоюсь встретиться с Иваном. Вдруг он меня узнает и, как всегда, скажет что-нибудь прямо: например, что я не стал тем, кем должен был стать...

Всех Иванов-разведчиков, кем бы им ни довелось быть в этом дольном мире, да помянет Господь Бог во Царствии Своём!

### Невидимый

Мне было лет восемь. Каникулы. Лето. Излучина чистейшего тогда Кинеля. Перекат с песчаными отмелями и берегами, за Нечистым мостом, у самого Егорьке. Один из берегов — «наш». Здесь всё своё, все свои: купаются друзья, старший брат с приятелем удит чуть выше по реке, и недалеко, в редких зарослях тальника, называемых по-мордовски «шолотькой», дед пасёт стадо.

Я перехожу вброд на другой берег и ложусь на песок среди пробивающихся лопухов мать-и-мачехи. Тихо. Печёт, но не сильно. Я подкапываю песок под собой и ложусь в эту яму. Заваливаюсь песком. Хорошо, прохладно. Вырываю куст мать-и-мачехи и кладу на голову. Наблюдаю за всем, что происходит на том берегу. Я вижу всех, а меня — никто. Я есть и меня будто бы нет.

Через некоторое время меня хватились: где? Побежали к брату, брат — за дедом. Кричат. Волнуются. Ищут. Мне смешно. Но потом поднимаю лопухи с головы и подаю голос. Удивление и испуг. Я поднимаюсь из песка и смеюсь. Перехожу на наш берег. Друзья отворачиваются и уходят. Дед садится и трясущимися руками скручивает сигарку. А брат начинает меня избивать.

...Недавно я снова ощутил себя невидимым, как бы сокрытым чем-то очень зыбким, хотя сижу в приённых, участвую в собраниях и застольях. Но уже давно — на другом берегу. Только вот никто не зовёт меня, не ищет. Никто. Но чувствую, что Кто-то очень скоро вырвет меня из песка и всыплет похлеще старшего брата.

## Содержание

### *Вступительное слово*

*Архиепископа Самарского и Сызранского Сергея* .....3

### **СТИХИ**

Небесный причал .....	6
Дума.....	7
Путь .....	8
Диалоги.....	11
«И вырвал я всё, что успел насадить...» .....	14
«Вот и кончилось ночь, я не понял опять ни бельмеса...» ..	15
«Воздай мне, Господи, сейчас...» .....	16
«В сиротство мирно погружаясь...» .....	17
«И лишь тамбовский волк — товарищ...» .....	18
«...по слякоти, по родине, по милой...» .....	19
«Это ветер-листодер...».....	20
«В тиши бревенчатой церквушки...» .....	21
«Сошла на землю благодать...» .....	22
«Всё по осени пресно...» .....	23
«И, если осень на исходе...» .....	24
«Какие предвечные помыслы!..» .....	25
«Красных юбок мчащуюся медь...» .....	26
«И будет холодно и пусто...» .....	27
«Когда вознесусь, вознесусь, вознесусь...» .....	28
«Эти русские зимы...» .....	29
«Я услышал голос с поднебесья...» .....	30
«У Смородины-Мологи...» .....	31
«Заночую в душистом овраге...».....	32
«И никогда, и никогда...» .....	33
«В поздних сумерках Крыма...» .....	34
«Увядшая осень спокойна...» .....	35
На Белом озере .....	36
«Вспоминаю всё чаще и чаще...» .....	37
«Понимаем с годами всё боле...» .....	38
Родина.....	39

«По оврагам пасутся кони...» .....	40
«Холодный ветер русского простора...» .....	41
На русском рубеже .....	42
Осень. 1993 год .....	43
«Теперь мне многого не надо...» .....	44
Кино .....	45
Стезя .....	46
«Услышать шорох листопада...» .....	47
Николаю Шипилову .....	48
«Широко на белом свете...» .....	49
«Что же, пора возвращаться...» .....	50
«Течёт неспешная река...» .....	51
«Нагие осины застыли...» .....	52
«Когда ни печали, ни боли...» .....	53
«...Он возвращался, как бродяга...» .....	54
«Когда уж надоест скитаться, .....	55
Отрывки .....	56
«Подсчитаю все потери...» .....	60
«Кулишки, Солянка, Колпачный...» .....	62
«Когда отрину мудрость черни...» .....	63
«Всё будет: и свет...» .....	64
«Ничего не будет скрыто...» .....	65

## Рассказы

Дед Егорий .....	68
Саня-Саня, который на небесах .....	76
Бешеный волк .....	83
Мордовский старик .....	87
«Петя!..» .....	89
Спасатель Андрей .....	91
Под неожиданным покровом .....	94
В Горицах .....	96
Нарушение обета .....	99
Цыгане шумною толпою .....	101
Володя Церковный .....	103
Как я молился Апостолам .....	105
Компьютер .....	107
Иван-разведчик .....	108
Невидимый .....	117

**Владимир Ильич Осипов**

**МОНАСТЫРСКАЯ ДОРОГА**

*Стихи*

Самарская областная писательская организация  
искренне благодарит за поддержку и помощь  
в реализации проекта

«Народная библиотека Самарской губернии»

***Ольгу Васильевну Рыбакову,  
Павла Васильевича Мазеева,  
Руслана Сергеевича Асташкина***

Книга издана за счёт средств бюджета Самарской области

Руководитель проекта

«Народная библиотека Самарской губернии»

***Александр Громов***

Издание подготовлено издательством

**«Русское эхо»**

Самарской областной писательской организации

Адрес: 443001, г. Самара, ул. Самарская, 179,  
телефон (846) 333-48-01

Подписано в печать 21.12.2007. Формат издания 84х108/<sub>32</sub>.

Объём 5,85 печ.л. Гарнитура Georgia. Бумага мелованная.

Печать офсетная. Тираж 700 экз.

Отпечатано в типографии ООО «Книга»

г. Самара, ул. Песчаная, 1, офис 404, телефон (846) 267-36-82